

87.201

III 93



184

С. Я. ШОРАИХ

ПЕРВЫЙ ДРУГ

ДУШКИНА

О. РАДИЧ

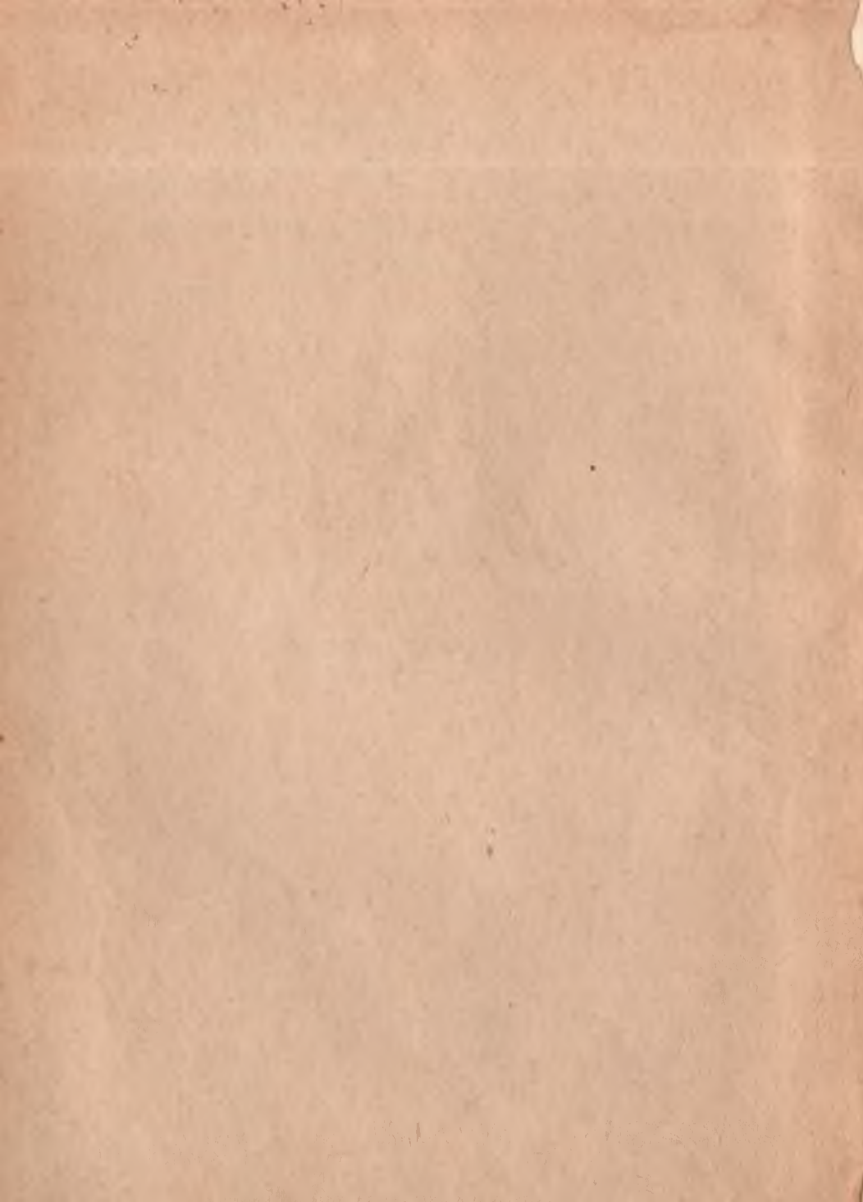


Мой первый друг,
Мой друг бесценный...

Пушкин о Пушкине

Главное, не надо утрачивать
поэзию жизни.

Пушкин



Прочтено

ш-53

С. Я. ШТРАЙХ

ПРОВЕР

ПЕРВЫЙ ДРУГ ПУШКИНА

С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАПИСОК
ПУЩИНА О ПУШКИНЕ
И ДВУМЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

~~Библиотечка завкома
Ленинградского
завода № 174
Лен. № 6286~~

~~Ленинградский завод~~

43 | Омская
Ц. Ф. М., Ленинград

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»

МОСКВА

1930

83.3P1

Ш93

Обложка работы А. П. Радищева

О Т П Е Ч А Т А Н О

в 14-й тип. „Мосполиграф“

Варшавская гора, 8

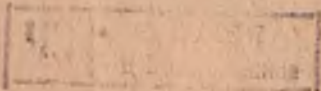
Главлит № А 65588

Заказ № 1152

Фосп. № 369

Тираж 4 000

экз. 7 п. л.



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Важнейшее в этой книге — Записки Пушкина о Пушкине. Ценные сами по себе, как прекрасный образец мемуарной литературы, в котором совершенно отсутствует авторское тщеславие, а личность пишущего, помимо его стремлений, вырисовывается в неотразимой привлекательности, Записки эти — общепризнанный крупный вклад в литературу о Пушкине. Вся огромная литература о великом поэте совершенно не заслонила этот рассказ товарища его отроческих и юношеских лет.

Тоном своего писания и манерой изложения Пушкин выпукло и ясно изображает обстановку, в которой рос Пушкин и развивался его гений; вместе с автором читатель переживает те дни, когда в садах лицея безмятежно расцветала юность великого поэта. Исторически верно и художественно правдиво изображается в этих Записках атмосфера знаменитого учебного заведения, в котором воспитывался Пушкин, в котором складывались его политические взгляды, в котором вырос сам Пушкин — героически-самоотверженный и рыцарски-честный представитель.

русской интеллигенции. А. И. Герцен по поводу Записок Пущина воскликнул: „Что за гиганты были эти люди 14 декабря, что за талантливые натуры!“

Печать талантливости лежит также на письмах Пущина, которых до нас дошло свыше двухсот. Они ярко освещают прекрасный нравственный облик русского идеалиста 20-х годов XIX века, а их тонкий юмор и изящный стиль подтверждают мнение Пушкина о большом литературном таланте его лицейского товарища. В предшествующих изданиях моей работы о Пущине была собрана значительная часть его писем, после моих публикаций появились в печати другие неизданные письма Пущина, много неопубликованных хранится в разных архивах. Собранные вместе, письма Пущина и необходимые пояснения к ним составят книгу объемом в тридцать печатных листов. Эти письма, конечно, имеют большое значение для истории русской культуры и русского общественного движения Николаевской эпохи, но условия нынешнего книжного рынка и, главным образом, переживаемый нами бумажный кризис не дают возможности выпустить их в свет в настоящее время. В числе неизданных писаний декабристов имеются произведения не менее значительной общественно-политической ценности, чем письма Пущина; они также требуют внимания и денежных средств читателя. Дождутся и письма Пущина своей очереди.

Но нельзя откладывать нового издания Записок Пущина о Пушкине, представляющих первостепен-

ный интерес не только для читателя, желающего вникнуть в обстановку школьных лет величайшего русского поэта, но и для всех, изучающих литературное и общественное движение первой половины XIX столетия. Выпущенные отдельной, небольшой по объему, книжкой, эти Записки становятся доступными широким кругам читателей. По определению одного из лучших знатоков Пушкина и его окружения — Н. О. Лернера — Записки Пушкина дают ключ к пониманию основного тона эпохи Пушкина и декабристов. Ближайший друг великого поэта, наиболее выдержанный и цельный представитель русского либерализма 20-х годов XIX столетия, Иван Иванович Пущин полнее и ярче очень многих отразил в своей личности то характерное и типичное, что определило среду, взрастившую Пушкина.

Но читая записки Пущина, надо помнить, что в них все-таки, помимо воли и намерения автора, могли вкрасться некоторые преувеличения, объясняемые большею частью особенностями его доброго и благожелательного характера, а иногда и политическими взглядами. Так, например, теперь справедливо заподозрена точность положительного отзыва Пушкина о художественных достоинствах „Дум“ Рыльева в передаче Пущина. Конечно, такие мелкие неточности не колеблют общего положительного значения Записок Пущина.

Однако, личность самого автора Записок, этого рыцаря правды, по определению декабриста С. Г.

Волконского, остается в них затушеванной. Меж тем при более или менее подробном ознакомлении с жизнью и политической деятельностью Пушкина сообщаемые в его Записках сведения о юношеской жизни великого поэта приобретают особенное значение. Только при этом условии для читателя становится понятным, почему Пушкин называл его своим первым и бесценным другом, почему он так дорожил общением с Пушкиным, как и в чем выразилось влияние декабриста на поэта. Ввиду этого в историко-биографическом очерке, переработанном и расширенном для настоящего издания, сгруппированы материалы для характеристики автора Записок, освещающие изящный образ его и необходимые в таком издании вследствие чрезмерной скупости Пушкина на автобиографические подробности.

Говоря о политической деятельности Пушкина, я сравнительно мало останавливаюсь на выяснении его места в ряду членов тайного общества декабристов. Но подобное рассмотрение и связанное с ним изложение истории политического заговора 20-х годов XIX столетия повело бы к значительному расширению книги, название которой вполне соответствует моему заданию; таковы же и подзаголовки к моему очерку. Настоящая книга может быть только одним из пособий при изучении жизни и деятельности молодого Пушкина в условиях его бытового и общественного окружения. Для более глубокого изучения эпохи в смысле развития ее политических и социальных идей

следует обращаться к многотомному собранию документов по делу декабристов, издаваемому под редакцией М. Н. Покровского, а для общего ознакомления с движением декабристов — к его очеркам, собранным в книге „Декабристы“ (М. 1927).

Конечно, приводимые в этой книге стихотворения Пушкина, особенно те, которые введены в литературный обиход Записками Пуштина, не могут рассматриваться здесь с точки зрения изучения текстов поэта или даже проверки достоверности их принадлежности Пушкину. Рассмотрение их в этом плане требует совершения целого ряда экскурсий в область пушкиноведения и выходит за пределы назначения моей работы. Для такого изучения следует обращаться к работам о лидейских стихотворениях Пушкина: М. О. Гершензона („Русские пропилеи“, т. 6), М. Л. Гофмана („Труды и дни“, т. III и очерк „Пушкин“ 1922 г.) и М. А. Цявловского — в новейшем издании Сочинений Пушкина (М. 1930). В соответственных местах моей работы я делаю ссылки на это последнее издание. Здесь отмечу еще, что показания Пуштина о принадлежности Пушкину того или иного стихотворения не отвергаются ни одним исследователем; сомнения высказываются только относительно точности их редакции, воспроизведенной Пуштиным по памяти через несколько десятков лет. И добавлю, что сам Пуштин несколько раз в своих Записках повторяет, что таких-то и таких-то стихов Пушкина он не приводит. так

как не помнит их. Тем больше достоверности имеют его Записки вообще.

В примечаниях к тексту даны необходимые историко-литературные пояснения. Примечания самого Пущина помечены его инициалами. К книге приложены два снимка — с портрета Пущина в эпоху его политической деятельности и с картины, где он изображен в кругу своих товарищей по ссылке.

При подготовке настоящего издания к печати я пользовался незаменимым для меня содействием моей жены Надежды Владимировны, а также указаниями Н. К. Пиксанова и всех рецензентов на предшествующие издания моей работы о Пущине. Всем им глубокая благодарность.

За время, отделяющее выход в свет предыдущей моей работы о Пущине от настоящего издания, русское пушкиноведение понесло тяжелую утрату в лице Бориса Львовича Модзалевского (родился 20 апреля 1874 года, умер 3 апреля 1928 года). Как и всем другим, работающим в области истории русской литературы и общественного движения Пушкинской эпохи, мне много приходилось пользоваться указаниями и советами Б. Л. Модзалевского, особенно в моих работах и публикациях о Пущине. С признательностью к памяти покойного исследователя, выпускаю в свет это новое издание своей работы.

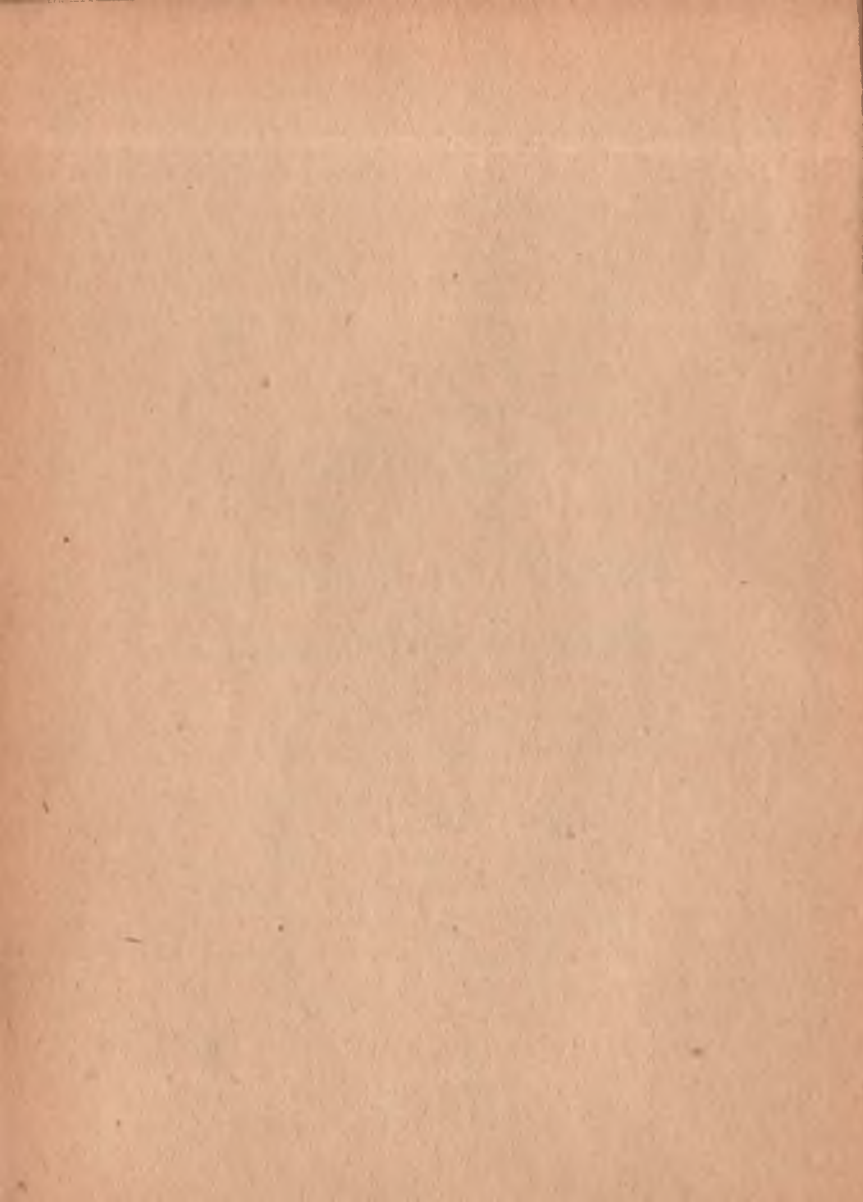
С. Штрайх

Москва, 4 мая 1929 года.

С. Я. ШТРАЙХ

ПЕРВЫЙ ДРУГ ПУШКИНА

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЧЕРК



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПУЩИН И ПУШКИН

Роковая пуля встретила бы мою
грудь, я бы нашел средство со-
хранить поэта-товарища.

Пушкин о Пущине.

От самого начала своей сознательной жизни до конца ее, от первых лет учения до могилы, пронес великий поэт нежную любовь к Ивану Ивановичу Пущину, который так же верно и горячо был предан своему лицейскому товарищу. Связанные тесной дружбой с первого же дня вступления в Царско-сельский лицей, в котором они целых шесть лет безвыездно прожили почти в одной комнате, значительно различавшиеся характерами, Пушкин и Пущин взаимно влияли друг на друга и воздействовали один на другого лучшими сторонами своих личных свойств, укрепляя этим взаимным влиянием свои природные дарования. По выходе из лицея друзья разошлись в разные стороны, но взрожденная в отроческие годы любовь продолжала благоуханно цвести в их сердцах, и каждому из них пришлось

быть впоследствии, в разное время, ангелом-утешителем другого в тяжкую пору невзгод и лишений. Разобщенные, идущие разными путями к своим жизненным целям, Пушкин и Пущин черпали силу и вдохновение из глубины своих чистых и светлых сердец, в которых прочное место занимала их лидейская дружба.

Зародилась она в августе 1811 года, в огромном зале дворца министра народного просвещения А. К. Разумовского, куда были свезены малолетние сыновья лучших дворянских фамилий того времени для определения в новое учебное заведение — императорский Царскосельский лицей. В первый же день знакомства мальчики подружились и в свободное до начала лицейских занятий время много раз сходились в доме поэта Василия Львовича Пушкина.

Но в особенно благоприятные условия развития их дружба была поставлена, когда, по переезде в Царское Село, Пущин и Пушкин были поселены в смежных комнатах, разделявшихся тонкой перегородкой, не препятствовавшей им переговариваться даже шопотом. В долгие зимние ночи мальчики, лежа в своих комнатах, поверяли друг другу свои тайны, сомнения и надежды. И все более и более закреплялась их дружба, все глубже и серьезнее проникала в их нежные, богато одаренные души взаимная любовь.

Настало 19 октября 1811 года — день открытия Лицея, — когда Куницын возжег в сердцах обоих

друзей „чистую лампаду“, красиво разгоревшуюся в груди Пушкина божественным огнем пророческого вдохновения и ярким пламенем свободолюбия вспыхнувшую в груди Пушкина, воспитав из него борца, воодушевленного самоотверженной любовью к народу-страдальцу. Пушкин в своих записках подробно описывает этот день в его историческом и бытовом значении.

Наступили будни пансионской жизни. Резкий характер Пушкина мешал ему сразу сойтись с другими товарищами, которые несколько чуждались вспыльчивого, раздражительного, мечтательного мальчика. На первых порах Пушкин был почти единственным товарищем его детских игр и шалостей, единственным поверенным его вольнолюбивых, не укладывавшихся в рамки лицейского распорядка, стремлений. Не обходилось, конечно, между мальчиками без размолвок, но они лишь сильнее укрепляли их дружбу, как свидетельствует сам поэт в лицейской пьесе „Пирующие студенты“, написанной в 1814 году и посвященной Пушкину (см. ниже, стр. 158).

Как и другие лицеисты, Пушкин, конечно, не мог избежать влияния крупного, уже тогда проявившегося литературного таланта Пушкина: подобно другим он также участвовал в школьных журналах лицейстов первого курса. Профессор К. Я. Грот, изучивший эти журналы, отмечает в них несколько заметок, написанных Пушкиным. В лицейские же годы Пушкин напечатал в „Вестнике Европы“ два про-

заических отрывка, причем к одному из них Пушкин перевел следующую эпиграмму, под заглавием „Венере от Лансы“:

Вот зеркало мое — прими его, Киприда!
Богиня красоты прекрасна будет век,
Седого времени не страшна ей обида:
Она не смертный человек;
По я, покорствуя судьбине,
Не в силах зреть себя в прозрачности стекла
Ни той, которой я была,
Ни той, которой ныне¹.

Так взаимно влияли товарищи-лиценсты друг на друга, выступив одновременно в печати.

Отрывки Пущина написаны довольно литературно и гладко. Его литературный вкус развивался, несомненно, в одном направлении с пушкинским. Он сам в своих записках свидетельствует, что влиял на Пушкина в смысле выбора тем, и есть ряд доказательств влияния Пушкина на критические взгляды Пущина. Таковы, например, те места писем Пущина к Е. А. Энгельгардту и его записок, где он говорит о поэзии В. К. Кюхельбекера: „У него все пахнет,— пишет Пущин о Кюхельбекере,— каким-то неестественным расстроенным воображением, все неловко, как он сам, а охота пуще неволи, и говорит, что

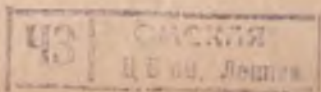
¹ Ср. Полное собрание сочинений А. С. Пушкина в 6-ти томах под общей редакцией Демьяна Бедного, А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, В. И. Соловьева и П. Е. Щеголева, М. 1930; том первый под редакцией М. А. Цявловского, стр. 46. СШ.

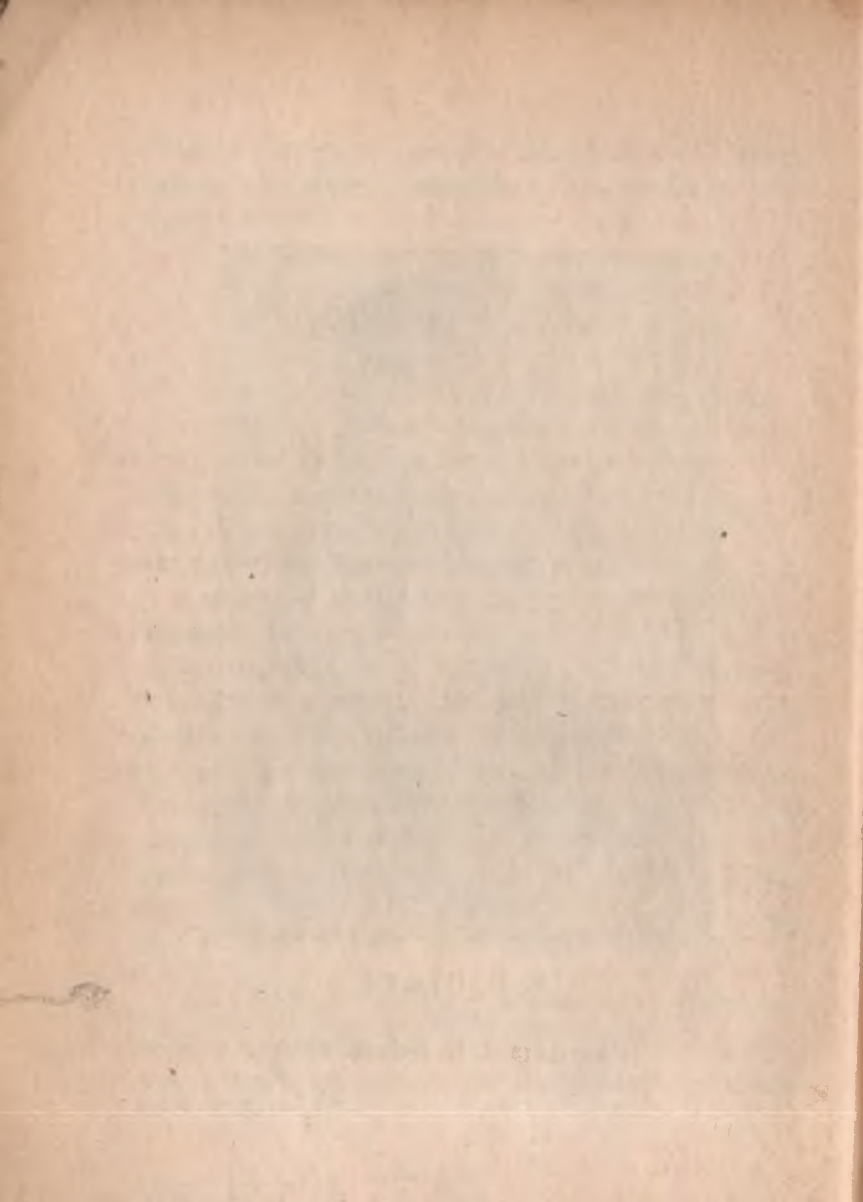


П. П. Пущин

1825

(с портрета Д. М. Соболевского)





наше общество должно гордиться таким поэтом, как он... Сравнивает себя даже с Байроном и Гете". Очень интересен также отзыв его о поэзии Кюхельбекера в письме к Ф. Ф. Матюшкину: „Бедный Вильгельм написал целый ящик стихов, который я отправил в Екатеринбург к его сестре. Он говорил всегда своей жене, что в этом ящике 50 тысяч рублей, но кажется этот обет не сбывается. Мне кажется, одно наказание ожидало его на том свете — освобождение от демона метромании и убеждение в ничтожности его произведений. Других грехов за этим странным существом не было. Без конца бы мог тебе рассказывать миллион сибирских анекдотов об нем, но это слишком далеко бы повело“.

В другом письме к тому же Матюшкину есть очень ценный отзыв о „Рыбаках“ Д. В. Григоровича, свидетельствующий о том, как вдумчиво относился Пушкин к произведениям реальной школы, такой далекой от направления двадцатых годов, когда развивался его литературный вкус. Важно отметить, что ко времени этого письма он успел прочитать только первые два отрывка „Рыбаков“, напечатанных в №№ 3, 5, 6 и 9 „Современника“ за 1853 год. „Ты, может быть, — пишет Пушкин Матюшкину, — не имеешь времени читать русские журналы, большую часть пустые, но „Современник“ иногда пробегай... Прочти Григоровича Рыбаки. Новая школа русского быта. Очень удачно! Нередко мороз по коже, как при хорошей музыке“.

6286

И затем любопытен его отзыв о „Тарантасе“ В. А. Сологуба: „Верно вы читали его и согласитесь, что это приятное явление на русском словесном поле. Мы просто проглотили эту новишку. Пусть Кюхельбекер посмотрит, как пищут добрые люди легко и просто“. Наконец, отзыв о сибирском писателе Словцове, слог которого „тяжел, изложение странное“, в котором „трудолюбия было много, но мало даровитости“.

О литературных интересах Пущина свидетельствует и то, что Н. И. Тургенев, затеявая в 1818 году, „независимо от тайного общества“, политический журнал, к „соучастию“ в котором он приглашал „членов и не членов общества, известных русских литераторов“, предлагал Пущину сотрудничать в нем. Пущин должен был для этого издания написать статью о книге г-жи Сталь „Рассуждения о французской революции“. Любопытен самый выбор темы. В Сибири Пущин много занимался переводами. Сам Пушкин заявлял, что Пущин обладал большим литературным талантом.

О совместных лицейских шалостях Пушкина и Пущина, об их лицейской дружбе говорится подробно в знаменитых записках Пущина. Отличие его взаимоотношений с Пушкиным от взаимоотношений поэта с другими лицейстами объясняется особенностями характера Пущина, сумевшего лучше других товарищей понять душу Пушкина. Редкая сердечная доброта Пущина, тонкая наблюдательность и критическое

чутье помогли ему, как он об'ясняет в своих записках,—взглянуть на Пушкина „с тем полным благо-расположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище“. Поэтому-то он и полюбил Пушкина „настоящим образом“. Говоря о нарастании и закреплении их исключительной дружбы, Пущин об'ясняет это тем, что он чаще других имел возможность интимно беседовать с товарищем-поэтом о всех их повседневных переживаниях, о тревогах и волнениях их юношеских лет: „Я, как сосед,—с другой стороны его номера была глухая стена,—часто, когда все уже засыпало, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало“.

Впоследствии Пущин рассказывал, что содержание их ночных бесед с Пушкиным состояло „из жалоб Пушкина на себя и на других, скорбных признаний, раскаяния и, наконец, из обсуждения планов, как поправить свое положение между товарищами или избежать следствия ложного шага и необдуманного поступка“. Пущин был первым из товарищей, ото-звавшихся, как он выражается, на привязанность Пушкина к лицейскому кружку, и Пушкин умел ценить эту отзывчивость. Пущину же посвящен целый ряд стихотворений его гениального друга.

Здесь и „Воспоминание“ (1815 г.), где поэт говорит, обращаясь к Пушкину: „Помнишь ли, мой брат по чаше, как в отрадной тишине мы топили горе наше в чистом пенистом вине... хохот чистого веселья“; здесь и „19 октября“ (1825 г.), где в первоначальной редакции знаменитого „Роняет лес багряный свой убор“ поэт вспоминает их детские годы: „мы вспомнили, как Вакху приносили безмолвную мы жертву в первый раз, как мы впервой все трое полюбили, наперсники, товарищи проказ...“ Любовь эта была чистая юношеская любовь Пушкина, Пушкина и третьего лицеиста к сестре их товарища Е. П. Бакуниной, которая жила с матерью в Царском Селе до 1816 года. О ней Пушкин вспоминает в одном из своих писем по возвращении из Сибири.

О студенческих пирушках и вообще о тесных товарищеских отношениях Пушкина и Пушкина говорится в стихотворении 1815 года „К Пушкину“ (4 мая), напечатанном тогда же в „Российском Музеуме“. В нем — отклик задушевности их тесной дружбы; оно интересно и для личной характеристики Пушкина:

Любезный именинник,
О Пушкин дорогой!
Прибрел к тебе пустынный
С открытою душой;
С пришельцем обнимися,
Но доброго певца
Встречать не суетися
С парадного крыльца:
Он гость без этикета,

Не требует привета
Лукавой суеты;
Прими ж его лобзанья
И чистые желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостям пирушку:
На столик воценой
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час.
Пускай ума светильник
Погаснет пыле в нас,
Пускай старик крылатый
Летит на почтовых!
Нам дорог миг утраты
В забавах лишь одних.
Ты счастлив, друг сердечный:
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный,
Проходит день за днем,
И ты в беседе градий,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Горацций,
Хотя и не поэт.
Под кровом небогатым
Ты вовсе не знаком
С зловецим Иппократом,
С нахмуренным попом;
Не видишь у порогу
Толпящихся забот;
Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот;
Ты видишь звон стаканов
И трубки дым густой,

И демон метромахов
Не властвует тобой.
Ты щастлив в этой доле.
Скажи, чего же боле
Мне другу пожелать?
Придется замолчать...
Дай бог, чтоб я с друзьями
Встречая сотый Май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок, наливай!
Веселье, будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш¹.

Не только в совместных пирушках проявлялась дружба наших лицейстов, не только в умелом пользовании пуншевой чашей выразилась общность их стремлений. „Мы с ним [Пушкиным] постоянно были в дружбе,— говорит Пудин в своих записках,— хотя в иных случаях смотрели на людей и вещи разно; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонизировать и оставались в постоянном согласии“. Пушкин в стихотворении „В альбом И. И. Пудину“ (1817 г.) говорит о том же (см. ниже, стр. 158).

Пушкин словно предчувствовал, кончая курс лицея, при прощании с первым и бесценным своим другом, что „грозная судьба“ разбросает их далеко друг от

¹ См. Сочинения Пушкина, т. I, 1930, стр. 89. СШ

друга, и подчеркивает в этом стихотворении вечность их товарищеского союза. То же он повторяет и в знаменитом „19 октября“ 1825 года.

Совсем, казалось, разошлись пути друзей по окончании лицея в 1817 году. Пушкин уехал в деревню к родным. Пущин, больной, остался лежать в лазарете лицея, а по выздоровлении поступил в гвардейскую конную артиллерию. Через несколько лет он переехал в Москву на должность надворного судьи, побыв недолго в такой же должности в Петербурге. Один пошел по пути общественно-политического служения, другой стал петь гимны солнцу и любви. Но в далеких, на первый взгляд, направлениях деятельности обоих друзей было много общего. Еще в лицее Пущин интересовался вопросами политическими и социальными, а в год окончания лицейского курса он был принят полковником И. Г. Бурдовым в тайное общество. „Бурдов нашел,— пишет Пущин,— что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из лицея, я готов для дела“.

Пущин вступил в тайное общество для борьбы за освобождение родного народа от рабства физического и духовного. Вспомнив лицейские беседы с Пушкиным, он по вступлении в тайное общество хотел посвятить в это дело товарища-поэта: „Он [Пушкин] всегда согласно со мною мыслил о деле общем — *res publica* — по-своему проповедывал в нашем смысле — и изустно и письменцо, стихами и прозою“.

Пушкин был настолько уверен в том, что Пушкин не только сочувственно относится к идеям общества, но способен также отдаться борьбе за их осуществление, что не сомневался в присоединении поэта к движению, если бы тот узнал о существовании заговора.

Скоро Пушкин приехал в столицу, и, конечно, увиделся с первым своим другом, а немного спустя он заболел, и Пушкин почти ежедневно навещал его. В долгих дружеских беседах они затрагивали волновавшие их в лицейские годы вопросы, и Пушкин, подозревавший что-то особенное, просил посвятить его в тайну общества.

Вопрос об отношении к Пушкину членов тайного общества обсуждался главарями заговора. Как свидетельствует член Общества соединенных славян И. И. Горбачевский, будущим декабристам было прямо запрещено посвящать Пушкина в дела общества из опасения, что поэт может проговориться в кругу своих светских и придворных знакомых и таким образом выдать тайну общества правительству. Это подтверждает и член Северного общества М. А. Бестужев, у которого находим любопытный рассказ об отношении главарей общества к исключительным по дружбе взаимоотношениям их сочлена Пушина и столь легкомысленного в их глазах Пушкина. Зная нежную любовь Пушина к его другу-поэту, руководители заговора стеснялись прямо сказать Пушину

о запрете делиться сведениями о заговоре с Пушкиным, предоставляя это дело природному такту Пушкина.

Любопытно сопоставить с этим объяснение, которое давали агенты жандармского ведомства в 1826 году нежеланию декабристов посвятить Пушкина в заговор. Посланный Бенкендорфом в Псковскую губернию автор доноса на декабристов А. К. Бошняк собрал там в 1826 году среди местных помещиков сведения об образе мыслей поэта. Со слов кишиневского друга Пушкина отставного генерала П. С. Пушкина и других помещиков и чиновников, встречавшихся с поэтом во время его псковской ссылки, Бошняк сообщил III отделению: „Пушкин так болтлив, что никакая злонамеренная шайка не решится его присвоить“.

Как видно из записок Пушкина, он и сам не хотел посвящать своего лицейского товарища в дела общества (ср. ниже, стр. 182 и дальше).

Когда же Пушкин особенно настойчиво просил Пушкина ввести его в Тайное общество,— друг поэта, „как умел, отделялся, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели; тогда везде ходили по рукам, переписывались и читались наизусть его „Деревня“, „Ода на свободу“, „Ура! в Россию скачет...“ и другие мелочи в том же духе“...

Пушкин понимал, что Пушкину предназначено иными путями действовать, как нельзя лучше, „для благой

цели“. Когда же Пушкин, в сознании своего революционного долга, перешел из военной службы в гражданскую, заняв должность надворного судьи, что вызвало неодобрение его светских друзей и знакомых, Пушкин по достоинству оденил побуждения своего лицейского товарища. В первоначальной редакции „19 октября“ 1825 года он говорит, обращаясь к Пушкину: „И все прошло — проказы, заблужденья... Ты, освятив тобой избранный сан, ему в очах общественного мнения завоевал почтение граждан...“ В рукописи вторая, перечеркнутая строка этой строфы читалась так: „смирнен, суров тобой избранный сан“. Но Пушкин хотел выдвинуть на первое место не должность Пушкина, которую он также ценил, а высокие нравственные качества своего друга.

Шло время по окончании лицея. Друзья виделись редко. Пока Пушкин служил в Петербурге, Пушкин был на юге и на Кавказе. Письма Пушкина, не дошедшие до нас, были отрадою поэту. В конце 1823 года Пушкин писал А. А. Дельвигу: „Вчера повеяло мне жизнью лицейскою; слава и благодарение за то тебе и моему Пушкину“. Потом Пушкин переехал в Москву, а Пушкин был сослан в Михайловское. Ближайшие друзья и даже родные, если не отшатнулись от поэта, то остерегались иметь непосредственные сношения с ним, боясь репрессий со стороны правительства. Пушкин изнывал в Михайловском от „бешеной скуки“, мучительность которой усугублялась

назойливым надзором настоятеля Святогорского монастыря, имевшего поручение заботиться об исправлении поэта-атеиста.

Когда в Москве в конце 1824 года стало известно, что Пушкин из Одессы сослан в деревню отца, сердце Пущина болезненно забилося. Немедленно Пущин решил навестить товарища и осуществил свою мысль вопреки запрещению начальства. Выхлопотав себе отпуск для поездки в Петербург к родителям, Пущин испросил также разрешение на поездку к сестре в Псков, куда его влекло и чувство любви к О. П. Пальчиковой. От Пскова уже рукой было подать в с. Михайловское, и никакие запреты, никакие предостережения общих знакомых не могли удержать Пущина от поездки к опальному другу.

Сам Пущин рассказывает, что перед отъездом из Москвы, на вечеру у князя Голицина, он встретился с А. И. Тургеневым, который советовал ему не ездить к Пушкину во избежание неприятностей от правительства. Такое же предостережение Пущин выслушал от В. Л. Пушкина, которому сказал, что увидит его племянника.

Не зная еще, что Пущин собирается к нему, по осведомившись о его пребывании в Питере, Пушкин, в письме к брату, предлагал последнему заехать к Пущину и передать ему привет.

Побыв некоторое время у родных, Пущин поехал к Пушкину. Поэту передалось волнение друга, приблизавшегося 11 января 1825 года к селу Михай-

ловскому, и в неоконченном отрывке, помеченном этим числом, он писал: „Стрекотунья белобока, под калиткою моею скачет пестрая сорока и пророчит мне гостей“¹.

Велика была радость друзей при этом свидании. Пущин в своих записках оставил красноречивое, обаянное нежной любовью описание этого дня. Страницы записок Пущина, посвященные январьскому свиданию его с Пушкиным, — самые нежные, душевные страницы в обширной литературе, посвященной поэту. Увидев в окно Пущина, Пушкин, босиком, в одной рубашке, выбежал на крыльцо, с поднятыми руками. Не менее был взволнован и гость. Через 30 лет воспоминание об этом свидании вызывало у него слезы.

Пошли нескончаемые разговоры. Пушкин жадно слушал друга, выспрашивал его, сумел вырвать у него признание в существовании тайного общества. Но о подробностях Пущин умолчал, переменяв тему разговора. Говорили много о лицейской жизни. Отклик политических бесед в селе Михайловском — в пометке Пущина на письме к Пушкину от 12 марта 1825 года, единомыслие видно в словах: „знаменательный день“, относящихся к восшествию Александра I на престол после убийства его отца 11 марта 1801 года.

Приезд Пущина оживил поэта, лицейский товарищ явился непосредственно от московских и петербург-

¹ Ср. Сочинения Пушкина, изд. 1930 г., т. II. под ред. М. А. Цявловского, стр. 177. СШ.

ских друзей его, связал его с миром, от которого Пушкин был насильственно отторгнут и по которому сильно тосковал. Даже брат Лев Сергеевич опасался приехать к нему на свидание в Михайловское, и Пушкин около этого времени с горечью писал ему: „Твои опасения насчет приезда ко мне вовсе несправедливы: я не в Шлиссельбурге, а при физической возможности свидания лишить одного двух братьев была бы жестокость без цели...“

Пушкин привез поэту литературную новинку, — рукопись „Горя от ума“, письма А. А. Бестужева, К. Ф. Рыльева, новые книги. Было о чем поговорить и кроме политики. Но она все-таки врывается в беседы друзей, то в связи с письмом Рыльева, который напоминал Пушкину, что он живет близ Пскова, где „задушены последние вспышки русской свободы“ и побуждал его написать поэму об этом „крае вдохновения“, то в связи с горячими речами Пушкина, который в ту пору был в центре заговора, как один из директоров Северного общества, глава московского его отделения.

Гость пристально приглядывался к Пушкину и нашел его „несколько серьезнее прежнего“. Поэт читал товарищу новые свои произведения, продиктовал ему для издававшегося Бестужевым и Рылевым альманаха „Полярная звезда“ начало „Цыган“ и просил благодарить Рыльева за его патриотические „Думы“. Весь день провели друзья вместе. При прощании им стало обоим очень тяжело и грустно: „Как будто

чувствовалось,— пишет Пушкин,— что последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку. Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани...“

Оживив своим приездом в Михайловское связь Пушкина с внешним миром, Пушкин по возвращении в Петербург и Москву своими рассказами о товарище освежил интерес общества к поэту-изгнаннику. Пушкин дал товарищу ряд поручений к столичным друзьям частного и обще-литературного свойства. Характер этих поручений выясняется из текста трех дошедших до нас писем Пушкина к Пушкину. Приведу их полностью — они так важны для выяснения взаимоотношений обоих друзей. Письма Пушкина к его первому другу не сохранились.

Москва, 1825, февраля 18.

Опять я в Москве, Любезнейший Пушкин — действую снова в Суде. Деньги твои возвращаю: Вяземская [В. Ф.— жена известного писателя] их не берет, я у себя оставить не могу; она говорит, что получит их от Одесского приятеля, я говорю, что они мне не следуют. Прими их обратно,— я никак благоразумнее не умею поступить с ними.

Живи счастливо, Любезнейший Поэт! Пиши мне послание и уведоми о получении суммы.

Кюхельбекера [В. К.— лицеист, декабрист] здесь нет. Он в деревне у матери и вероятно будет у тебя.

Много знакомых твоих и любопытных о тебе рас-

спрашивают. Я по возможности удовлетворю их любопытству. Между прочим И. И. Дмитриев меня забросал вопросами за обедом у Вяземского.

Прощай, будь здоров, Кланяйся Няне, Твой Иван Пушкин.

На днях тебе пришло Рылеева произведения, которые должны появиться: Войнар[овский] и Думы.

Мой Ад.: у Спаса на песках близъ Арбата в доме Графини Толстой.

12 марта [1825 г. Москва].

Здравствуй, любезный Пушкин.

До сих пор жду от тебя ответа и не могу дожидаться. Хоть прозой уведомить меня надобно, получил ли ты посланные мною деньги.

Между тем я к тебе с новым гостинцем. Рылеев поручил мне доставить труды его [„Войнаровский“ и „Думы“],—с покорностью отправляю.

Вяземский [П. А.—поэт и друг Пушкина] был очень болен. Теперь, однако, вышел из опасности: я вижу его довольно часто,—и всегда непременно о тебе говорим,—княгиня—большой твой друг.

Хлопотавши здесь по несносному изданию с Селивановским [С. И.—издатель] я между прочим узнал его желание сделать второе издание твоих трех поэм, за которые он готов дать 12 тысяч. Подумай и употреби меня, если надо, посредником между вами. Впрочем советовал бы также поговорить об этом с петербургскими книгопродавцами, где гораздо лучше издаются книги.

Все тебе желают миллион хорошего.— Мы ждем Ломоносова [С. Г.— лицеист, дипломат] на днях из Парижа.

Твой И в а н П.

Марта 12. Знамен. день [день вступления Александра I на престол, после убийства Павла I].

2 апреля [1825 г.] Москва.

Наконец получил послание твое в прозе, Любезный Пушкин! Спасибо и за то. [Это письмо Пушкина до нас не дошло]. За проклятую *délicatesse* я с Княгиней бранился; она велела сказать тебе, что ты хорошо делаешь, когда при деньгах пришлешь ей долг, что она отнюдь не хочет тебе его простить. Только желает, чтобы ты тогда ей заплатил, когда сам будешь иметь довольно количество монеты.

Вяземский совсем поправился, начал выезжать. Все тузы Московские тебе кланяются и с большим удовольствием читают Онегина.

Мы ждем сюда Дипломата Ломоносова, который уже в Петербурге. Будь здоров.

Твой И в а н П.

[На обороте] Ее высокоблагородию Прасковье Александровне Осиповой. В Опочке, для доставления в село Тригорское, а вас покорно прошу отослать А. С. Пушкину.

Долго было памятно поэту посещение Пушкина. В „19 октября“ 1825 г. Пушкин посвятил этому событию и теперь волнующие читателя строки:

И пыше здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустышних вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Тронх из вас, друзей моей души,
Здесь обпл я. Поэта дом опальный,
О, Пушкин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья дещ печальный,
Ты в день его Лицея превратил¹.

Не только значение нравственной поддержки имел для Пушкина приезд его лицейского товарища. Как всегда, гражданский пафос „рыцаря правды“ — так называл Пушкина декабрист С. Г. Волконский — повлиял на творчество поэта, и первое произведение Пушкина после отъезда Пушкина из Михайловского отразило содержание их бесед 11 января 1825 года. Несомненно под влиянием этих бесед Пушкин написал пьесу „Андрей Шенье“, которой он сам придавал значение предсказания. В первой половине декабря 1825 года он писал П. А. Плетневу: „Душа! Я пророк, ей богу, пророк. Я Андрея Ш. велю напечатать церковными буквами во имя от. и Сы“. — В середине лета он по тому же поводу писал П. А. Вяземскому: „Читал ты моего А. Шенье в темнице? Суди об нем, как иезуит — по намерению“.

Отклик бесед с Пушкиным слышен в словах Шенье, в них же удивительное предвиденье поэта о твердом поведении некоторых декабристов, особенно его друга, в следственной комиссии:

¹ Ср. изд. 1930 г., т. I, стр. 291 и 391. СШ.

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластною бестрепетный ответ.

Душевное стремление Пушкина высказалось в стихах, в которых он желает успеха движению, руководимому одним из его лицейских товарищей. Поэту кажется, что он и сам примет участие в восстании:

Я зрел, как их могучи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И — пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли...

Политические верования Пушкина те же — либеральные, — что и у Пущина. Оба они были воспитаны на лекциях Куницына, который учил царскосельских лицеистов любить и уважать свободу. Устами Шенье, поэт так высказывает свои тогдашние политические убеждения:

Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! нет, не виновна ты:
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешепстве народа —
Сокрылась ты от нас. Целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой..
Но ты придешь опять со мщением и славой¹...

Много свидетельств влияния Пущина на политическое мировоззрение Пушкина имеется в литературе. Интересно примечание П. А. Вяземского к записке о Пушкине М. А. Корфа, где этот черствый и благо-

1 Ср. изд. 1930 г., том I, стр. 277. С. Ш.

памеренный чиновник ставит своему великому лицейскому товарищу в укор, что в то время, как „после классных часов прочие бывали или у директора или в других смежных домах,— Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами (гусарами) нараспашку“. Вяземский в выноске к этим словам пишет: „В гусарском полку Пушкин не пировал только нараспашку, но сблизился и с Чаадаевым... А дружба его с Пушиным?“

Кроме того, что Пушкин говорит о своем влиянии на политическое содержание поэзии Пушкина в своих Записках о нем, он оставил очень ценное свидетельство по этому вопросу в письме к лицейству И. В. Малиновскому (из Туринска, от 14 июня 1840 года). Вот дошедший до нас отрывок этого письма: „Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и еслиб я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта-товарища, достоиние России, хотя не всем его стихам поклоняюсь, ты догадаешься, про что я хочу сказать: он минутно забывал свое назначение и все это после нашей разлуки...“

Наконец, надо иметь в виду попытку Пушкина приехать в декабре 1825 г. в Петербург, попытку, связанную с желанием поэта видетсья с Пушиным, по его же вызову.

Сердце поэта болело за участь всех привлеченных к делу 14 декабря, но больше всего страдал он при

мысли о Пудине. В феврале 1826 года Пушкин писал Дельвигу: „...Но что Ив. Пудин? Мне сказывали, что 20-го, т. е. сегодня, участь их должна решиться, сердце не на месте, но крепко надеюсь на милость царскую...“ В августе он писал П. А. Вяземскому: „Еще таки я надеюсь на коронацию. Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей — ужасна“.

Когда Пудин был осужден по делу о декабрьском восстании, Пушкин еще раз вспомнил приезд лицейского товарища в Михайловское и посвятил ему бодрящее стихотворение „Мой первый друг“ (Ср. ниже, стр. 204).

В записках Пудин говорит о своей радости при получении этого стихотворения Пушкина в Чите в начале 1828 года, через жену декабриста А. Г. Муравьеву. А в воспоминаниях об А. Г. Муравьевой, написанных через 30 лет после этого для ее сестры, Н. Г. Долгорукой, Пудин говорит: „Помню тот день, когда Александра Григорьевна через решетку отдала мне стихи Пушкина. Эти стихи она привезла с собой. Теперь они напечатаны. Воспоминание поэта-товарища Лицея, точно озарило заточение, как он сам говорил, и мне отрадно было быть обязанным Александре Григорьевне за эту утешительную минуту“.

Несколько раньше Пудин писал своему лицейскому товарищу Ф. Ф. Матюшкину: „Пушкина последнее воспоминание ко мне 13 декабря 826 года: „Мой

первый друг и пр.“ я получил от брата Михаила в 843 году собственной руки Пушкина. Эта ветхая рукопись хранится у меня как святыня. Покойница А. Г. Муравьева привезла мне в том же году список с этих стихов, но мне хотелось иметь подлинник и очень рад, что отыскал его. Когда-нибудь подобно тебе прислать послание к нам всем: „Во глубине сибирских руд“.

Стихотворение „Мой первый друг, мой друг бесценный“ написано поэтом во время заточения Пушкина в Шлиссельбургской крепости. Утешая друга в его несчастье, Пушкин вспомнил о той великой радости, которую доставил ему приезд Пушкина в село Михайловское, и в первоначальной редакции этого стихотворения писал:

Забытый кров, шалаш опальный
Ты с утешеньем посетил,
Ты день отрадный и печальный
С изгнанным другом поделил.

Так оба они облегчали друг другу душевные тяготы и оба считали дни этих встреч или воспоминаний лучшими в жизни. „Преисполненный глубокой, живительной благодарности“ к Пушкину за отрадный отклик на его страдания, Пушкин только жалел, что „не мог обнять“ Пушкина, как поэт обнимал его в Михайловском в январе 1825 года.

Пушкин был в Сибири, на каторге, за много тысяч верст от Москвы, где Пушкин удивался успехами творчества, где его на руках носили почитатели та-

ланта, но страждущего друга своего и остальных борцов за свободу поэт не забывал. В стихотворении „Арион“, написанном 16 июня 1827 года, — отражение чувств поэта к сосланным заговорщикам:

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружно уширали
В глубь мощны весла. В тишине,
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...

Свидетельство того, что Пушкин в 1826 г. еще не совсем преодолел отход от идеологии декабристов, что он еще не считал тогда их дело чужим для себя, — в наличии двух редакций этого стихотворения. В первоначальном наброске главный герой его — сам поэт — обозначен в третьем лице и выведен, как случайный спутник сидевших в челне („их было много“, „а он — беспечный“, „пловцам он пел“). В печатном тексте подчеркнута общность Ариона-Пушкина с с пловцами-заговорщиками 1825 года, по крайней мере — в смысле личных отношений (ср. изд. 1930 г., т. II, стр. 35, и изд. Брюсова, стр. 266).

Декабристов-товарищей утешал он, посылая им следующие стихи, написанные в начале того же года:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас;
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут¹.

Печально было лицеистам-первокурсникам собираться 19 октября 1827 года без товарищей-декабристов, без Пущина и Кюхельбекера. Пушкину это было особенно чувствительно: он любил обоих нежно и трогательно. Поэт посвятил друзьям-мученикам свой лучший дар — стихотворение на день лицейской годовщины, озаглавленное „19 октября 1827“ и имевшее еще другой заголовок: „К товарищам молодежи“. Последняя строфа его относится к Пущину и Кюхельбекеру (см. ниже, стр. 206).

И Пущин тяжело переживал этот памятный лицейский день. В письмах к Е. А. Энгельгардту он часто возвращался к лицейской годовщине: „Как водится,

¹ Сочинения, 1930 г., т. II, стр. 32. ср. очень интересную по материалу и по разработке темы статью М. В. Нечкиной „О Пушкине, декабристах...“ („Кат. и ссылка“ 1930 № 4). С. III.

19 октября [1837 года] я был с вами, только еще не знаю, где и кто из наших вас окружал. Тут у меня обыкновенно рассказы, которые и здесь между товарищами находят сочувствие. Вероятно, от вас услышу подробности этого дня. Хотелось бы подать голос бедному Вильгельму [Кюхельбекеру], он после десятилетнего одиночного заключения поселен в Баргузине и там женился; вы об нем можете узнать от его сестры. Верно, мысли папи встретились на разных точках Сибири; некоторые воспоминания не стареют, а укрепляются временем.— Лицей в том числе для меня...“

Пушкин все дальше и дальше отходил от идеалов своей юности, но ему памяты и дороги были побуждения руководителей декабрьского восстания. Поэт с грустью наблюдал отношение к декабристам тех представителей общества, которые пристрастно несправедливыми отзывами о заговорщиках старались снять с себя подозрение в сочувствии мятежу. И самым легким было от сознания, что сердце поэта с ними. Они в Сибири радовались развитию его творчества. Пущин пишет по поводу доставленных ему разными путями произведений Пушкина: „В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет...“

Пущин вел в Сибири подневольную жизнь каторжника, отверженного законом, гонимого по этапам, из

тюрьмы в тюрьму. Пушкин пользовался привилегиями невольника общественных правил и требований житской морали. Погиб поэт, невольник чести пал, оклеветанный молвой, и в смертный час свой он вспомнил лицейского товарища-друга. В последние, отравленные мгновенья жизни он говорил окружающим: „Как жаль, что нет здесь Пущина, мне бы легче было умирать“. Ссылный Пущин, узнав о смерти друга, был потрясен.

Выше приведен был отрывок из письма Пущина к Малиновскому, с заявлением декабриста, что если бы при нем: „должна была случиться несчастная история Пушкина, роковая пуля встретила бы грудь“ Пущина, который „нашел бы средство сохранить поэта-товарища, достояние России“. В декабре 1837 года он писал из Петровского завода Е. А. Энгельгардту: „Только хочу благодарить вас за памятные листки о последних минутах поэта-товарища, как узнаю из газет, что нашего Илличевского [А. Д., лиценст, поэт] не стало. Еще крест в наших рядах, еще прежевременная могила! Вы скажите, что и как. О Пушкине давно я глубоко погрустил; в „Современнике“ прочел письмо Жуковского [о смерти Пушкина]; это не помешало мне и теперь не раз вздохнуть о нем, читая Спасского и Даля [их статьи о смерти Пушкина]. Мы здесь очень скоро узнали о смерти Пушкина, и в Сибири даже, кого могла, она поразила, как потеря общественная“.

И много лет спустя, вернувшись измученный 30-летними нравственными пытками на родину, Пушкин отдал долг дружбе, связывавшей его с поэтом. Пушкин обессмертил своего товарища-гражданина целым рядом стихотворений, Пушкин увековечил в памяти потомства своего друга-лидеиста в знаменитых записках, нежными, любовными красками, зарисовав в них портрет юноши-поэта.

Заботился также Пушкин о сохранении для потомства всего написанного Пушкиным. В музее Революции в Москве хранится письмо дочери К. Ф. Рылеева, А. К. Пушкиной, в ответ на запрос И. И. Пушкина о том, нет ли у нее писем Пушкина к ее отцу. Это письмо интересно для характеристики Пушкина: „Милостивый государь Иван Иванович,— пишет ему дочь Рылеева от 3 ноября 1858 года из Тулы.— Приятнейшее письмо Ваше я получила 29 октября. Как и чем выразить Вам мою благодарность за Ваши заботы и попечение обо мне?.. Вы думаете, чтобы я могла усумниться, не получая долго известия; никогда я не сомневалась в Вас, узнав Вашу прекрасную душу, но я несколько беспокоилась о здоровье Вашем и теперь боюсь... Чувствительно благодарю Вас за проект письма к министру [судя по остальному, речь идет об издании сочинений Рылеева]... Молю бога, чтобы он осуществил наши пожелания; касательно рукописи и портрета я совершенно покойна, потому что они в Ваших руках. Вы можете их держать сколько Вам угодно. Писем

Пушкина к моему отцу здесь нет, впрочем я знаю, что некоторые бумаги остались в Воронежской губернии, напишу к сестре, чтобы она мне прислала их...“

Характерно для Пущина, что он всегда заботился о сохранении документов, относящихся к истории творчества Пушкина, к истории заговора и восстания декабристов и поселения их в Сибири. Сын декабриста Е. И. Якушкин сообщал П. С. Шереметеву любопытные сведения по этому поводу:

— Вот характеристическая черта вашего прадеда П. А. Вяземского,— говорил Е. И. Якушкин П. С. Шереметеву,— это я слышал лично от Пущина. На другой день после 14 декабря рано утром является к И. И. Пущину, один из его друзей (А. М. Горчаков) и умоляет его бежать за границу. Пущин наотрез отказался, сказав, что не может этого сделать и готов подвергнуться общей участи. Вслед за этим другом, также рано утром, является П. А. Вяземский и спрашивает Пущина, не нужно ли ему чего-нибудь. Пущин отвечал: „возьми портфель с бумагами“. Содержание их было серьезно, но взять было необходимо. П. А. Вяземский тотчас взял портфель и обещал вернуть как только позволят обстоятельства. Когда Пущин вернулся из ссылки, к нему явился П. А. Вяземский и передал ему портфель, который он сохранял свыше тридцати лет.

Все эти бумаги дали исследователям ценнейший материал для истории творчества Пушкина и для истории заговора декабристов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ ПУЩИНА

Пушин благороден, рассудителен, чувствителен с мужеством.

Отзыв наставников.

Иван Иванович Пушин происходил из родовитой дворянской фамилии. Дед его был известный адмирал екатерининского времени Петр Иванович Пушин; отец — генерал-лейтенант, генерал-интендант, сенатор Иван Петрович Пушин был женат на Александре Михайловне Рябининой (родился около 1755 года, умер 7 октября 1842 года; жена умерла в 1840 году). Детей у Пушиных было много. Было шесть сыновей: из них — Иван — декабрист, родился 4 мая 1798 года, умер 3 апреля 1859 года, был женат с 1857 года на Нат. Дм. Фонвизиной, рожд. Апухтиной (род. 1805 г., ум. в 1869 г.), детей у них не было, сын и дочь Ив. Ив. Пушина родились в Сибири в ссылке, их матери неизвестны; и Михаил — декабрист, родился в 1800 году, умер 25 мая 1869 года. Было еще у Пушиных шесть дочерей.

Материальные средства Пудина-отца были сравнительно скромны, и дети его постоянно нуждались в деньгах. К. Ф. Рылеев, в письме к жене из крепости, от 20 апреля 1826 года, напоминает ей о долге И. И. Пудина в 1500 рублей, которые он дал ему, как другу, и просит жену не делать шагов к получению денег от родных И. И., а ждать, пока они сами отдадут.

О воспитании И. И. Пудина в доме родителей находим краткие известия в записках его брата, М. И., у которого „из воспоминаний детства более всего внедрились в память серьезность отца, помешательство матери, начальство старших сестер, отсутствие всякого присмотра со стороны гувернеров Трините, Вранкена, Троппе и др., баловство старшей, любимой няни Авдотьи Степановны, и при ней дружба с горничными“. „Несмотря, однако же, на такую обстановку,— говорит М. И. Пудин,— научное наше воспитание шло довольно успешно“.

В лицейских ведомостях, в списке кандидатов для приема в лицей, сказано, что на экзаменах И. И. Пудин выказал следующие познания: „в грамматике русского языка — хорошо, французского — изрядно, немецкого — читает, в познании общих свойств тел, в основных началах географии и истории — хорошо“.

Жизнь лицейстов в Царском Селе была вольная. Сам Пудин подробно рассказывает в своих записках об условиях их лицейского воспитания. Дру-

гой лицеист, А. Д. Илличевский, писал в 1814 году П. Н. Фуссу, своему гимназическому товарищу до лицей: „У нас, по крайней мере, царствует, с одной стороны, свобода (а свобода дело золотое). Летом досуг проводим на прогулке, зимой — в чтении книг, иногда представляем театр, с начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся“. В выборе книг для чтения лицеисты были независимы. Илличевский пишет об этом: „Чтение питает душу, образует, развивает способности; по сей причине мы стараемся иметь все журналы и впрямь получаем: „Пантеон“, „Вестник Европы“, „Русский Вестник“ и пр.“. Даже М. А. Корф, в своих воспоминаниях отнесшийся отрицательно к лицейскому воспитанию, признавал, что лицеисты учились много „в чтении и беседе, при беспрестанном трении умов“. О литературных занятиях Пушкина в лицейские годы сказано выше.

Счастливым характер Пушкина, необыкновенная доброта его, постоянное стремление так или иначе помочь каждому нуждающемуся,— все это было ему свойственно до самой кончины; особенно выявляются эти качества в письмах Пушкина к Энгельгардту и родным, которых он то и дело просит облегчить участь разных лиц, нуждавшихся в том или ином отношении. Товарищи по лицейю особенно любили Пушкина, которого в семейном и дружеском кругах звали Jeannot, всегда образ его вызывал у всех, знавших его, чувства нежной привязанности и радости.

Даже М. А. Корф, сухой и черствый бюрократ, оклеветавший декабрьское движение в своей книге о восстании 1825 года,— о Пущине, как о товарище и человеке, отзываясь с большой теплотой. В дневнике своем за 1840 год он писал: „И. И. Пущин, один из тех, которые наиболее любимы были товарищами, с светлым умом, с чистой душой...“ В другой записи, за 1854 год, Корф почти дословно повторил эту характеристику Пущина: „Ив. Ив. Пущин, со светлым умом, с чистой душой, с самыми благородными намерениями, был в лицее любимцем всех товарищей... излишняя пылкость... сгубила нашего любимца...“ Ни в 1840, ни в 1854 г. Корф не имел основания лицемерить перед самим собой в отношении Пущина, политическими идеями которого он даже не интересовался по существу. Тем ценнее его свидетельство о Пущине-лицейсте, как беспристрастное и выдержавшее искушение времени и политических обстоятельств. Корф говорит о светлом уме Пущина. Подтверждение этому мнению лицейстов о Пущине — в стихотворении Пушкина „Мое завещание друзьям“ (1815 г.): „Ты не забудешь дружбы нашей, о, Пущин, ветреный Мудрец“. В первоначальной редакции было: „О, Пущин, Юноша-Мудрец“.

Трогательна любовь к Пущину честного, очень чуткого в нравственных оценках директора лицей Е. А. Энгельгардта, прекрасного педагога. Наряду с Ф. Ф. Матюшкиным, которого старый директор любил нежной отеческой любовью, самое почетное место

в его сердце занимал И. И. Пущин, которого он называл „золотым“.

Несмотря на участие во всех товарищеских шалостях, Пущин был на хорошем счету у своих лицейских наставников. Благодаря прекрасным природным способностям, он хорошо усваивал преподаваемое, и в ведомостях лицейских о нем — лучшие отзывы.

Так, в „табели, составленной из ведомостей профессоров, ад’юнктов и учителей об успехах, о прилежании и о дарованиях воспитанников лицея с 23 октября 1811 по 19 марта 1812 года“, под фамилией Пущина — четвертого в списке воспитанников, перечисленных в порядке успешности их занятий, — читаем о его „превосходных успехах, более твердых, нежели блистательных, о редком прилежании, о счастливых дарованиях“ и т. п. В „табели с 19 марта по ноябрь 1812 года“ читаем о Пущине, который здесь числится шестым по списку, что у него счастливые способности, редкое прилежание, успехи твердые, здраво мыслит; по словесности немедкой и французской у него великие способности и прилежание; в рисовании у него отличные дарования, очень хорошие успехи (отмечу, что в Пушкинском доме хранится и теперь рисунок Пущина — пейзаж, написанный итальянским карандашом); по нравственной части он весьма благонадежен, с осторожностью и разборчивостью; благороден, добродушен, рассудителен и чувствителен с мужеством. В „Отчете о по-

ведении и свойствах воспитанников“ за 1812 г. о Пущине даи такой отзыв: „С весьма хорошими дарованиями, всегда прилежен и ведет себя благоразумно; благородство, воспитанность, добродушие и скромность, чувствительность с мужеством и тонким честолюбием, особенно же рассудительность суть отличительные свойства; в обращении приятен, вежлив и искренен, но с приличной разборчивостью и осторожностью“.

И позже отзывы профессоров о способностях Пущина всегда положительные. Проф. Н. Ф. Кошанский (российская и латинская словесность) всегда аттестует Пущина отличным учеником. Проф. И. К. Кайданов (география и история) свидетельствует, что Пущин — „дарований очень хороших, уроки слушает всегда с особенным вниманием, а посему оказывает весьма хорошие успехи, в поведении благонравен“.

Что же вынес Пущин из лицейского преподавания, какие лекции профессоров, какие влияния создали из него политического деятеля, сознательно шедшего по определенному пути со дня выхода из лицея до самого дня 14 декабря 1825 г. и сохранившего свои верования неизменными до могилы?

Царскосельский лицей был основан в 1811 году с целью „образования юношества, особенно предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий“. Программа лицейского преподавания,

состоявшая из предметов, „приличных важным частям государственной службы и необходимо нужных для благовоспитанного юноши“, была разделена на два курса, по три года каждый. 19 октября 1811 года состоялось торжественное открытие лицея, подробно описанное Пушкиным в его записках. Как ни плоха была постановка преподавания в лицее, ввиду убогого состояния тогдашней отечественной педагогики, но царскосельские студенты могли свободно развивать свои природные дарования и стремления. Особые условия существования лицея в тихом, удаленном от столицы городке, отсутствие целого ряда начальственных инстанций, наличие молодых, не испорченных еще раболепством и чиновничьим прислужничеством профессоров,— все это способствовало проникновению в сознание лицеистов идей свободолюбия и демократизма, которые они слышали на лекциях, по тому времени весьма передовых. Последние годы пребывания в лицее им довелось провести под руководством Е. А. Энгельгардта, который был выдающимся педагогом, глубоким знатоком основных начал воспитания, искренно был предан демократическим идеям.

Особенно сильно влиял на политическое развитие лицеистов профессор права Куницын. Пушкин увековечил память Куницына и запечатлел его влияние на лицеистов в своем „19 октября“ 1825 года. В первой редакции этого знаменитого стихотворения поэт говорит:

Купидыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена¹.

В своем лицейском курсе о „праве естественном“ (издан в 1818—1820 гг., вскоре отобран у автора и из всех учебных заведений, как „явно противоречащий истинам христианства и клонящийся к ниспровержению всех связей семейных и государственных“) Куницын смело и горячо выступал в защиту прав человека и гражданина, проповедуя идеи всеобщего равенства. Воспитанник Геттингенского университета, он учил своих слушателей, что „каждый должен быть признаваем нравственным существом, целью для себя самого“, что „соединение людей для достижения общей цели не может произойти иначе, как через договор, ибо никто не имеет первоначального права принуждать других желать того, чего он сам желает, и действовать для целей, им не назначенных“. Власть даря, по учению Куницына, ограничена „естественными“ правами человека — свободой личности, слова, совести — и договором, на основании которого общество вручило ему власть: „Употребление власти общественной без всякого ограничения есть тиранство, а кто оно производит, тот есть тиран“. Особенно резко протестовал А. П. Куницын в своих лекциях против крепостного права:

¹ См. Сочинения, изд. 1930 г., т. I, стр. 391. СШ.

„Никто,— говорил он своим слушателям,— не может приобрести право собственности на другого человека ни против воли, ни с его на то согласия, ибо право личности неотчуждаемо“.

Обстановка в лицее вообще была демократическая. Обращение профессоров с воспитанниками и последних со служащими было самое вежливое; лицеистам не только на лекциях Кунцына внушалось, что все люди равны. Соседство лицеистов с императорской семьей содействовало развитию в них критического отношения к правящей среде, повседневное наблюдение придворной жизни убеждало в разложении высших классов.

В „Отчете“ о занятиях лицеистов находим интересный материал для суждения о характере и внутреннем содержании учебного курса, который прошел Пущин. Особенно любопытны здесь в связи с будущей его деятельностью строки о преподавании лицеистам политических и юридических наук: „От первого изложения системы наук политических воспитанникам постепенно предлагаемы были науки, объясняющие права и обязанности людей в общезжитии, состав гражданского общества и существо связей, соединяющих различные части государства... способ удовлетворения общественным потребностям...“ Отчет указывает, что профессора лицейские в истолковании положительного законодательства России принимали „не буквальное выражение воли верховной, но повод и причину, служившие побуждением

к учреждению какого-либо закона". При обсуждении отдельных законов лицеистам указывались их противоречия и „внимание их преимущественно было обращено на сии пункты, обыкновенно запутанность и беспорядок в течении судебных дел производящие. Не скрыты были от них злоупотребления, в суде и расправе встречаемые, равно как источники оных и последствия: ибо в храме просвещения и образования одна только истина должна управлять устами наставника; она только может обнаружить всю гнусность неправоты, издоимства и лицепрятия... Конференция... каждому из своих членов поставляла в обязанность изображать вещи в настоящем их виде, несмотря ни на какие уважения".

Пушин вполне воспринял эти идеи и осуществлял их в своей судейской деятельности. Оправдал он надежды своих учителей и в стремлении их так показать лицеистам устройство государственных дел, „чтобы сердца их наполнялись состраданием к ближнему и чтобы они получили смелость восставать против злоупотреблений, тяжким игом обременяющих общество".

На политические идеи Пушина должно было оказать влияние и преподавание в лицее истории всеобщей и отечественной. Отчет так характеризует это преподавание: „Вопреки вкравшемуся по злоупотреблению обычаю хвалить все домашнее без разбору, деяние историческое и характеры лиц, имевших влияние на дела России, представляемы были в точном их

виде. Самые пороки изображены были во всей их гнусности“.

К этим профессорским влияниям присоединялись еще дружеские беседы с воспитанниками Е. А. Энгельгардта, который внушал лицеистам, что „сердце—высший дар общества, в этом священном хранилище достоинство человека только существует, что основное правило жизни—в чистоте совести, что судейская деятельность выше военного ремесла“, что „всякий здоровый, широкоплечий, не ученый и особенно не рассуждающий человек может быть у нас отличный офицер“, а люди, имеющие „высшие нравственные и умственные достоинства“, не должны посвящать „труд и жизнь на это машинальное, бездушное дело“.

Понятно, что в такой обстановке Пущин проникся свободолобивыми идеями, развитию которых способствовали и внешние знакомства его. „Еще в лицейском мундире,— пишет он,— я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михаил), Бурцов, Павел Калошин и Семенов. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком...“ И. Д. Якушкин рассказывает в своих записках, как царские генералы преследовали такие офицерские артели, в которых участники их

„читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе“.

Позднее, когда Пущин был осужден по декабрьскому делу, все его вольные идеи были поставлены в вину лицу. Николаю I была представлена составленная Фадеем Булгариным секретная записка о „лицейском духе“, который характеризуется так: „В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем равенства. Молодой вертопрах... должен толковать о конституциях, палатах, выборах, парламентах, казаться не верующим христианским догматам и более всего представляться филантропом и русским патриотом“. Автор записки доносил, что в „лицее начали читать все запрещенные книги, там находится архив всяких рукописей, ходивших тайно по рукам, и, наконец, пришло к тому, что, если надлежало отыскать что-либо запрещенное, то прямо относились в лицей“. Либерализм укоренился в лицее, по уверению Булгарина, в самом мерзком виде.

Так кончил Пущин в 1817 году курс учения в лицее и был выпущен оттуда с чином офицера гвардии, при чем был объявлен достойным серебряной медали.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУЩИНА

Пушин — покровитель бедных,
гонитель неправды.

Н. И. Греч.

Он был демократом в истинном смысле этого слова.

Е. И. Якушкин.

Поступив 29 октября 1817 года в гвардейскую конную артиллерию, Пушин широко развил свою деятельность в качестве члена Северного тайного общества и скоро был избран в Думу — руководящий орган заговора. Его революционная репутация была столь известна, что Н. И. Тургенев при встрече с ним, после восстания Семеновского полка в 1820 г., сказал Пушину: „Что же вы не в рядах восстания Семеновского полка. Вам бы там надлежало быть“. Был Пушин и в знаменитом походе 1821 года вместе со всей гвардией, которой этот поход был назначен в наказание за вольный дух ее и в виде меры для

охлаждения либерального пыла гвардейской офицерской молодежи. Гвардия дошла до царства Польского и была оттуда возвращена в столицу, а руководители тайного общества сумели в пути на вербовать многих новых членов. Так мера, которою царь надеялся ослабить революционный дух офицерства, послужила к расширению заговора.

Пушкин хорошо помнил заявление Энгельгардта, что офицером может быть и всякий туго размышляющий, мускулистый суб'ект, а человек, одаренный способностью мыслить, должен действовать там, где можно непосредственно помогать народу. Помнил он в частности советы Энгельгардта лицам работать на поприще судейском и недолго пробыл в военной службе. В апреле 1820 года И. И. был произведен в подпоручики, в декабре 1822 года — в поручики, а в январе 1823 года был „уволен от службы по домашним обстоятельствам, для определения к статским делам“. При этом было указано, что Пушкин „в штрафах не бывал, по российски, немецки, французски читает, писать и говорить умеет, и артиллерийскую науку знает; повышению чином достоин“. Это было все, что требовалось тогда начальством от гвардейского офицера. Развитие Пушкина было неизмеримо глубже этой программы.

Внешним поводом к оставлению военной службы для Пушкина послужило столкновение с великим князем Михаилом Павловичем, который на выходе во дворе заметил ему, что у него не по форме

завязан темляк на сабле. На самом же деле Пущин стремился осуществить свой идеал общественного деятеля.

На свое вступление в тайное общество он смотрел, как на нечто, обязывающее и возвышающее его самого. „Я как будто вдруг получил особенное значение в собственных глазах,— пишет Пущин,— стал внимательнее смотреть на жизнь, во всех проявлениях буйной молодости наблюдал за собой, как за частицей, хотя ничего не значущей, но входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно иметь свое благотворное действие“. Демонстративно оставив военную службу в гвардии, он захотел усилить демонстрацию поступлением на должность квартального надзирателя, чтобы, как он сам говорил позднее Е. И. Якушкину, показать, что в службе государству и народу нет обязанности, которую можно бы считать унижительной.

Это решение Пущина привело в ужас его родных. Несколько позднее, когда получивший прощение М. И. Пущин (принятый братом в тайное общество) просил у отца разрешения приехать в родовое имение управителем, старик-Пущин сказал сыну, что „не дворянское дело быть управителем и ниже упасть его сыну невозможно“. Сестры на коленях умоляли И. И. Пущина отказаться от мысли пойти в квартальные. Он поступил в надворные судьи, сверхштатным членом петербургской уголовной палаты. Вступил он в должность в июне 1823 года, а в декабре того

же года перевелся в Москву надворным судьей. Это нужно было для целей заговора: Верховная дума поручила Пущину организовать Московскую управу общества и заведывать ею.

Заботился он также об увеличении сил тайного общества вообще. Свидетельство этому — в письме И. И. Пущина к брату, Михаилу Ивановичу (из Москвы от 30 мая 1825 года): „Вот Якубович [Ал. Ив., декабрист] любезнейший Михайло! прошу тебя с ним познакомиться или узнать его короче, если с ним прежде был знаком. Ты не узнаешь в нем прежнего шалуна — все это прошло. Грузинский воздух прогнал дурь из головы: он там наблюдал, думал и учился. Впрочем опять не надобно искать в нем совершенства, как некоторые полагают в Москве. Я всегда с удовольствием с ним видался; рассказы его были для меня занимательны, хотя я любил бы, чтобы он не делал столько восхищений и не употреблял бы высокопарных слов, которые напоминают мне Белоусовича... Якубовича ты должен познакомить с твоими товарищами, особенно прошу с Пазимовым [М. А., декабрист] свести его. Летом, признаюсь, несносно действовать в Суде, где, впрочем, дела идут порядочно... Нарышкин [М. М., декабрист] с батальоном стоит в двух верстах от Москвы — его иногда посещаем“.

В своих записках Пущин из скромности ничего не говорит о своей судейской деятельности, но современники много знали и говорили о надворном

судье-лицепесте. Их мнения отражены в стихах Пушкина. Ф. С. Хомяков писал тогда же знаменитому своему брату: „Пушкин первый честный человек, который сидел когда-либо в русской казенной палате“. Даже такой прислужник правительства, как П. И. Греч, после декабря 1825 года обдавший декабристов ушатом грязи, о Пушкине писал: „Благородный, милый, добрый молодой человек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель неправды; в добродетельных порывах, для благотворения человечеству, вступил на службу, безвозмездно, по выборам, в уголовную палату; память о его уме, сердце и характере останется навеки в глубине души моей...“

Друг и товарищ Пушкина по обществу, П. И. Капловский, писал в апреле 1824 года В. Д. Вольховскому: „После долгого ожидания, наконец, Пушкин прибыл к нам: все тот же. Принялся за дело и думает надворный суд свой исправить: дело великое, но трудное“. Сам Пушкин, оптимист до конца жизни, тогда же писал Вольховскому: „Мой надворный суд не так дурен, как я ожидал. Вот две недели, что я вступил в должность; трудов бездна; я им [подчиненным] толкую о святости нашей обязанности и стараюсь собственными примерами возбудить в них охоту и усердие“. К этой службе Пушкин привлекал и друзей своих, между прочим С. П. Кашкина, не скрывая от него всех неудобств и трудностей дела. Он просил Кашкина „хорошо обдумать свое намерение“, и когда тот согласился пойти в надворный

суд заседателем, го Пущин считал, что Кашкин „решился на подвиг“, и выразил уверенность, что „вместе дело пойдет дружнее“. Пущин звал своих друзей на подвиг самоотречения, хорошо сознавая, как трудно дворянину и помещику быть справедливым при разборе дел разночинцев и крестьян.

Старый директор лицея Энгельгардт гордился поступком своего Jeannot и еще раньше писал Матюшкину об отъезде Пущина в Москву так: „Очень, очень больно мне с ним расставаться, но определение его там так лестно и для него и для лицея, что я уже о себе и думать не смею“. Члены тайного общества также отдавали должное гражданскому подвигу Пущина. Но не только заговорщики, отдельные представители правящей знати восторгались энергичной борьбой Пущина с неправдой черной, царившей тогда в судах. Генерал-губернатор московский князь Д. В. Голицын говорил с большой похвалой о судейской деятельности Пущина, которого он вообще любил; об этом он говорил в 1830 году также М. И. Пущину. В конце 50-годов, через 30 слишком лет после ссылки Пущина, помнили в Москве, „с какой твердостью и достоинством исполнял Пущин трудные обязанности судьи“.

В этом отношении деятельность Пущина соответствовала уставу Союза Благоденствия, один из параграфов которого предписывал членам тайного общества занятие должностей в гражданском ведомстве, с целью исполнения не только принятых на себя

обязанностей, по уничтожения лихоимства и других злоупотреблений постепенным улучшением нравственности среди товарищей и подчиненных и распространением просвещения. В программе Союза было и наблюдение за исполнением государственных постановлений, побуждение чиновников к исполнению их обязанностей, наблюдение за решениями по судебным делам в правительственных учреждениях соответственно справедливости, материальная поддержка людей, пострадавших за правду.

Крестьянский вопрос сильно занимал членов тайного общества. Будучи председателем Московской управы тайного общества, Пущин учредил особый „Практический союз“, имевший целью, впредь до осуществления общеполитических и социальных идеалов общества, содействовать освобождению от крепостной зависимости дворовых людей. В земельном вопросе Пущин был сторонником радикального решения его.

Известный исследователь крестьянского вопроса В. И. Семевский считал, что Пущин был сторонником наделения крестьян не только огородной, но и пахатной землей. В. И. Семевский основывал свое мнение на замечании к 24-й статье того списка Конституции Никиты Муравьева, который сохранился в бумагах Пущина. В этом замечании, написанном, по мнению В. И. Семевского, рукою И. И. Пущина, сказано, что следует отдать крестьянам, при упразд-

нении т. н. крепостного права, кроме огородов, также и пахатную землю. В указанной статье читаем: „Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с огородами оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащим“. В замечании, сделанном на полях проекта конституции чернилами, сказано: „ежели огород, то земля“. Новейший исследователь Конституции Н. М. Муравьева, Н. М. Дружинин, тщательно проследивший происхождение всех дошедших до нас списков этой конституции (экземпляр Пущина написан рукой К. Ф. Рылеева, на нем имеются карандашные пометки В. И. Штейнгеля и чернильные другого лица) и сличивший все ее разночтения, полагает, что чернильные пометки (в том числе и о земле) принадлежат Н. А. Бестужеву¹. Мнению этому нельзя отказать в убедительности, так как помимо мотивов, обусловленных другими высказываниями Н. А. Бестужева, Н. М. Дружинин выдвигает еще сходство почерка замечания с почерком Бестужева, не отрицая в то же время и некоторого сходства почерка этого замечания с почерком Пущина. Действительно, почерки Пущина и Бестужева, судя по их письмам, бывшим в моем распоряжении, очень сходны.

Но все изложенное не опровергает мнения

¹ „Конституция Никиты Муравьева“, сб. „Декабристы и их время“, т. I, М. 1928. С III.

В. Н. Семевского (этого не отрицают и все позднейшие исследователи рассматриваемого текста Конституции П. М. Муравьева), что И. И. Пущин держался в земельном вопросе наиболее левого для северных декабристов взгляда. О своих взглядах на крестьянский и земельный вопрос Пущин говорит в письмах к брату и к другим лицам в том же духе отрицания права помещиков на крестьянский труд. Сам он крепостных не имел, а слуга его из отцовских дворовых, Алексей, умел читать Пушкина и понимал великого поэта.

Заговор разрастался. Появились предатели в среде тайных обществ. Надо было решиться на что-нибудь определенное. Внешние обстоятельства толкали на это, а смерть Александра I ускорила ход событий. При первом известии о приближающейся развязке И. И. Пущин поспешил в Петербург: так было условлено между членами Думы. Начальство не хотело дать ему отпуска, Пущин придумал болезнь родителей. Очень важно отметить, что еще за две недели до получения в столицах известия о смерти царя, Пущин порывался в Петербург. Так, 9 ноября 1825 года он писал из Москвы брату Михаилу: „В начале декабря непременно буду — в письме невозможно всего сказать: откровенно признаюсь тебе, что твое удаление из Петербурга для меня больше, чем когда-нибудь горестно... Я должен буду соображаться с твоими действиями и увидеть, что необходимость заставит предпринять...“.

Несомненно, что Пущин приехал в декабре 1825 г. в Петербург именно в связи с ожидавшимися политическими событиями: это установлено следствием по делу декабристов. Но приведенное выше письмо его к брату служит свидетельством того, что развязка заговора назревала независимо от замешательства в правящих кругах во время междоусобицы. Огорчение И. И. по поводу выезда брата из Петербурга объясняется тем, что он хотел привлечь М. И. Пущина к более близкому участию в заговоре, а также расширить при его содействии состав тайного общества.

Прибыв в столицу, Пущин принимал участие во всех заседаниях Верховной думы, решавшей вопрос о восстании. Был он и на том заседании, где решено было вывести войска на Дворцовую площадь.

Наступил день 14 декабря 1825 года, — день когда, по выражению Н. А. Котляревского, „вспышка политической мысли, перешедшая с необычайной быстротой в решительное действие, вырвала из среды нашего образованного общества, столь малочисленного в те годы, много даровитых людей“.

Сообщая в Москву С. М. Семенову, М. Ф. Орлову, М. А. Фонвизину и другим членам общества о готовящемся выступлении, о сложной и обильной работе, вылавшей на долю Верховной думы, Пущин в письме от 13 декабря 1825 года просил приятелей вздохнуть о нем: на случай неудачи. Брат его Михаил в воспоминаниях об этих днях пишет: „Он знал наверное, что пропадет, потому что никакой веры не

имел в организацию общества, но от товарищей отставать не хотел". И точно, в письме Семенову Пущин пишет: „Если мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе имя подлецов“. Возможно, что Пущин и говорил брату, что предчувствует неудачу восстания и свою гибель. Но возвращаться назад не хотел: личного страха в нем не было, малодушие было ему органически чуждо. Пущин был в первых рядах выведенных на площадь войск и вместе с Рылеевым проявлял кипучую деятельность.

С постоянной своей рассудительностью, с неизменным спокойствием, он не потерял головы, когда стало известно, что избранный Верховной думой в диктаторы С. П. Трубецкой не явился на площадь, хотя утром Пущин и Рылеев были у него и уговаривали выполнить свой долг перед обществом. Это сильно расстроило планы заговорщиков. В виду растерянности и колебания, проявленных другими главарями восстания, Пущин принял на себя командование ближайшим к нему отрядом. Он был в центре стрельбы и только по счастливой случайности не был ранен, но плащ на нем был прострелен в нескольких местах. Вообще он в тот день проявил твердость характера и хладнокровие. Так, когда в замешательстве один отряд восставших войск стал расстреливать другой и все находившиеся вблизи офицеры-заговорщики не сумели остановить это самоистребление, Пущин нашелся: он велел барабанщику бить отбой, и стрельба прекратилась.

Пушкин также заботился о том, чтобы не было лишних жертв среди товарищей-заговорщиков. Помнил он и о невооруженном народе, окружавшем площадь, просил толпу разойтись во избежание нечаянных жертв, когда в повстанцев стали стрелять картечью. А когда к заговорщикам под'ехал для переговоров любимый офицерской молодежью генерал П. О. Сухозанет, то Пушкин крикнул ему: „Пришли-те кого-нибудь почище вас“.

Из лиц Пушкин вынес большое чувство нравственного долга и неисчерпаемый запас альтруизма, которые в соответственный момент претворялись в некоторое подобие революционного действия. Как ни скромна была революционная решимость Пушкина, ее хватило на отречение от своих классовых интересов и на жертву собственным благом во имя своих идеалов. Среди очень умеренных по своим социальным взглядам членов Северного общества, программа которого отражает мелко-буржуазные стремления состоятельных помещиков, Пушкин занимает самое левое место. Может быть, это объясняется тем, что Пушкин сам не имел никакой земельной собственности и не владел ничьими душами, а от своего отца он мог получить по наследству очень мало.

Но несмотря на все это, Пушкин принадлежал к самым умеренным заговорщикам. В числе других он, например, удерживал А. И. Якубовича от царе-

убийства. И можно верить, что он говорил правду, когда отводил от себя вину в подстрекательстве П. Г. Каховского на царевубийство, хотя и обнял последнего, когда Рылеев уговаривал Каховского убить Николая. Неправильно также пелопый, вечно возбужденный, все путавший и забывавший В. К. Кюхельбекер показывал, будто Пущин подбивал его стрелять в ген. Воинова. Не отрекавшийся от своих, разоблаченных другими, действий, Пущин решительно отверг это обвинение, и ему можно верить, потому что всей его политической программе чуждо насилие — от мелочей до важнейших дел. Он только подчинялся партийной дисциплине, когда не протестовал против предложения К. Ф. Рылеева начать день 14 декабря убийством Николая. Когда на совещаниях Верховной думы обсуждался вопрос о новом образе правления в случае успеха переворота, Рылеев и Пущин настаивали на том, что „никакое общество не имеет права вводить насилие в своем отечестве нового образа правления, сколь бы оный ни казался превосходным, что это должно предоставить выборным от народа представителям“. Он был конституционалистом, либералом, до конца жизни и в 1858 году писал по поводу избрания его брата в какой-то комитет, что, расходясь в мнениях с избирателями, нельзя брать на себя представительства.

Но где надо было проводить решения большинства, там Пущин был на первом месте. Любопытно показание А. А. Бестужева в Следственной комиссии:

„Ив. Пущин в обществах давно прежде был весьма рассудителен и говорил, что начинать прежде 10 лет и думать нельзя, что нет для того ни людей, ни средств. Но, прослышав о смерти государя императора, тотчас приехал в Петербург и уже говорил, наравне с другими, что такого случая упускать не должно... Был на площади, ободрял солдат...“

Любопытные соображения о революционной решимости Пущина и вообще об его активной роли в дни восстания высказывает М. В. Печкина в своей интересной статье „О Пушкине, декабристах и их общих друзьях“ („Каторга и ссылка“, 1930 № 4). Там же ценные сведения об отношении Пушкина к движению декабристов.

Пущину вместе с Рылеевым Дума поручила отвезти, на случай успеха восстания, проект манифеста в Сенат и побудить сенаторов М. М. Сперанского, Н. С. Мордвинова и И. М. Муравьева-Апостола принять на себя временно управление государством. Этого делать не пришлось. Вечером заговорщики, и Пущин тоже, собрались у Рылеева, поговорили, потужили о неудаче и разошлись, чтобы на другой день быть арестованными.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПУЩИН В ПРОЦЕССЕ ДЕКАБРИСТОВ

Пушкин в обращении искренен, но с приличною разборчивостью и осторожностью.

Наставники о Пушкине.

Разгромив заговорщиков, Николай I в мести побежденным противникам проявил жестокость тирана и бездушность палача. Много есть показаний в литературе о пытках, применявшихся при допросах. Пытки нравственные, порою и физические, широко практиковались комиссией, действиями которой руководил сам император. Охотно отрекавшийся от революционных стремлений своих бывших товарищей Д. И. Завалишин, религиозно-правдивый и торжественно-спокойный М. А. Фонвизин, пылкий, романтический П. А. Бестужев, искренний и добросовестный И. Д. Якушкин — одинаково говорят об этом. Держали декабристов в темных и сырых от наводнения 1824 года казематах Петропавловской крепости; заковывали в ножные и ручные кандалы; угрожали пытками в случае заpiresательства; подвергали испытанию их

родственные и дружеские чувства, лживо заявляя, будто того или иного из них выдал брат или приятель, а потому и других щадить не надо; сажали по две недели на хлеб и воду; обещали помилование за откровенные показания; внезапно будили среди сна, надевали на голову покрывала и приводили в зал заседаний, где при ярком свете неожиданно сдергивали повязки; „поражали воображение и тревожили дух“. Сам Николай в своих записках с безграничным цинизмом рассказывает, как он допрашивал С. И. Муравьева-Апостола в продолжение нескольких часов, не обращая внимания на усталость и полнейшую измученность допрашиваемого, который буквально падал с ног. Это была настоящая физическая пытка.

Иные не выдержали: наговорили много лишнего, выдали непричастных к делу товарищей, нагромождали снежные комы имен — членов общества и погонщиков, — малодушествовали, доходили до пресмыкательства, проявляли всю неопытность пионеров массовой революции, попавших в руки инквизитора, так же изобретательного в сыске, как и беспощадного, злобного и жестокого вместе... Пудин — из тех, которые не поддались провокации царских следователей.

Товарищ Пудина по лицую А. М. Горчаков привез ему заграничный паспорт и предлагал устроить отъезд на иностранном пароходе, — он отказался, не хотел оставить товарищей в беде одних. Арестованный 15 декабря и заключенный в Петропавловскую кре-

пость, Пущин все время следствия держался с поразительным спокойствием; с редким самообладанием вел свою систему защиты, заключающуюся сначала в решительном отрицании перед комиссией какого-либо участия в подготовке восстания, как своего, так и всех названных ему лиц, часто выгораживая других вопреки очевидности. Если же он после настойчивых, инквизиторских вопросов признавал чьи-либо имена, так только те, относительно которых улики в вопросах комиссии были слишком явны. Особенно любопытен его способ уклонения от выдачи того, кто принял его в общество, ссылкой на вымышленное лицо или на покойника, который никого не мог впутать в дело. До самого конца следствия не хотел Пущин назвать полковника И. Г. Бурцова, и только определенное заявление Е. П. Оболенского заставило Пущина признать, что Бурцов принял его в заговор.

Редкий из декабристов был так сдержан, осторожен и уклончив в своих ответах комиссии, как Пущин: показания его — едва ли не самые краткие из всех показаний привлеченных к делу главарей заговора. В них вырисовывается его благородный характер, проявляется его политическая зрелость, обнаруживается гражданская стойкость, видна нежная дружба к товарищам по несчастью, к именам которых он бережно относился. Когда невозможно было отделаться молчанием, Пущин ссылался не на отдельных членов общества, а на постановление совещания. Но Пущин не только не выдавал товарищей, не только

умалчивал о тех, которые уже были известны комиссии, он еще поучал следователей приличию и скромности.

Для характеристики поведения Пущина во время следствия приведу здесь несколько отрывков из его кратких и сдержанных показаний.

Первое показание дано Пущиным 17 декабря 1825 года, немедленно по доставлении его в Алексеевский рavelин. „Состою я в обществе более чetyрех лет,— отвечает Пущин на вопросы комиссии,— принят в оное служившим в Киевском гренадерском полку шт.-капитаном Беляевым [вымышленное лицо]. Выпедши из военной службы, определился я в уголовную палату, где познакомился с служившим тогда дворянским заседателем, отставным подпоручиком Рылеевым [Пущин знал уже об его аресте]. Находя в частных разговорах наших, что мысли наши сходны, я ему об'явил о существовании общества, в которое его принял. Цель общества была — обуздание законами власти правительства. По правилам же общества, всякий из сочленов был неизвестен о действиях других, почему решительно не знаю, есть ли отрасли и где оные находятся... Брату моему [Михаилу] о существовании общества никогда не говорил и считал лишним подвергнуть его опасности. Но за два дня до происшествия, когда пронесся слух об отречении, спрашивал я о духе его эскадрона насчет присяги, тогда он отвечал мне, что эскадрон будет присягать

вместе с Измайловским полком и будет делать согласно с оным“.

Следующий допрос был учинен Пушкину 20 декабря. „В обществе московском нахожусь я столь недавно, что членов оного знаю немного. В сношении был я из оных с г. Черевиным [покойник], свитским офицером, и видал у него Токарева [еще покойник], служившего в министерстве юстиции. С сим последним в сношении я не был, но по разговорам видел, что к обществу принадлежит...“ „По требованию комитета, сим имею честь показать: свободный образ мыслей по естественному ходу духа времени заимствовал я от чтения политических книг, коим занимался по выходе из лицея в свободное время от службы; никто не способствовал к укоренению этих мыслей во мне“.

Видя упорство Пушкина и нежелание давать прямые показания на письменные вопросы, следственная комиссия вытребовала его 28 декабря на допрос в полном своем присутствии. „Убежденный в горестном положении отечества моего,— отвечал Пушкин комиссии, продолжая свою тактику и после торжественного священнического увещания,— я вступил в общество с надеждою, что в совокупности с другими могу быть России полезным слабыми моими способностями и иметь влияние на перемену правительства оной. Принят был я в общество в 1821 году Беляевым. С означенным Беляевым познакомился я у давнишнего моего приятеля Павла Черевина, который, к сожалению друзей его, скончался в прошлом году в Москве...

В декабре [1822 г.] по домашним обстоятельствам подал в отставку для определения к статским делам, согласно из'явленному мною желанию служить в присутственных местах, где всякий честный человек может быть решительно полезен другим. Тут познакомился я с Рылеевым... Предполагасмо было для необходимых издержек общества вносить каждому члену десятую часть годового дохода, но было ли сие исполнено, мне неизвестно; я же, с моей стороны, не мог ничего внести по расстроенным домашним моим обстоятельствам...“

„Находясь в здешней [петербургской] палате сверхштатным членом без жалованья и получа уже некоторый навык в производстве дел,—отвечает Пущин на вопрос комиссии, не для того ли он перевелся на службу в Москву, чтобы „распространить там круг действий заговорщиков“,— я вознамерился найти место, где бы мог быть употреблен с пользою. Посему написал я к лицейскому товарищу моему Данзасу [в Москву], и генерал-губернатор князь Голицын определил меня судьей I департамента Падворного суда. Места сего, хотя и в нижней инстанции, я никак не почитал малозначущим, потому что оно дает направление делу, которое трудно, а иногда уже и невозможно поправить в высшем присутственном месте; следовательно, переезд мой в Москву был совершенно далек от цели распространения нашего общества, которое, по наблюдениям моим, не могло там делать успехов; ибо во всех лицах, которых я там встречал, я

находил или людей еще очень молодых или таких, кои преданы совершенно рассеяниям общества и ни о чем полезном не думают... В обществе нашем не находилось, сколько мне известно, никого из людей высшего сословия; но мы надеялись, что найдутся таковые, которые, видя нас с вооруженною силою, захотят действовать согласно нашей цели для блага отечества. По приезде моем в Петербург за шесть дней до происшествия 14 числа, слыша о распространившемся слухе — об отречении Константина Павловича от престола и об нежелании некоторых гвардейских полков присягать наследнику его, я полагал, что воспользоваться сим неудовольствием войск весьма можно для исполнения цели общества. Возможность сего предприятия основывал я на военной силе, которая в состоянии будет отстранить царствующий дом от престола и, руководимая членами общества, требовать от высших правительственных мест учреждения временного правления впредь до собрания государственных чинов для совещания о новом государственном устройстве...“

„Мне совершенно неизвестны, — показывал Пудин 10 января 1826 года, — отрасли общества, находящиеся внутри государства, и потому, кроме поименованных мною членом в прежних показаниях, с которыми я был в сношениях, никого больше не знаю“.

„Подтверждая прежде данное мною показание, — заявлял Пудин следственной комиссии 11 января, — что в Москве никаких приобретений для нашего об-

щества не сделал, сим честь имею с требуемою откровенностью объяснить. В начале прошлого года, желая хотя несколько содействовать к общему благу, я учредил между знакомыми моими в Москве союз, имеющий целью личное освобождение дворовых людей. Обязанность члена состояла в том, чтоб не иметь при своей услуге крепостных людей, если он вправе их освободить. При всяком случае, где есть возможность к освобождению какого-нибудь лица, оказывать должен пособие или денежное, или какое-нибудь другое, по мере возможности... Поименовывать членов сего союза я почитаю излишним, ибо сие не входит в состав требования комитета, который, конечно, не найдет ничего предосудительного в цели сего союза...“

Последние слова сильно рассердили членов комиссии, и Пушкину было сделано строгое замечание: „Комитет замечает вам, что как вас уже спрашивали о принадлежности вашей к другим обществам, то и надлежало вам назвать вышеозначенный союз, а не умствовать и не рассуждать, входит ли знание о сем союзе в состав требований и обязанностей комитета или нет“.

„Точно показывал я Павлу Калошину,— отвечал Пушкин 12 января комиссии на ее вопрос,— листок об обществе соединенных и убежденных, который заключал в себе в нескольких словах цели и обязанности членов общества... Калошин сказал, что ему до этого дела нет. Когда же и кем был Калошин принят в тай-

ное общество, я не знаю... Вот причина, по которой я не показывал его членом нашего общества, ибо я могу только называть тех, кои достоверно мне известны или мною приняты“.

Не слышал, не видал, не помню,— вот главное содержание ответов Пушина комиссии. Так, в показании от 9 марта, на вопрос о Граббе-Горском, он заявил: „Это было от меня довольно отдаленно, так что ничего нельзя было слышать; равным образом мне неизвестно определенительно, до каких пор он оставался на площади, ибо я не обращал на него внимания“.

В обширных вопросных пунктах, на которые Пущин отвечал в показании от 14 марта, он заявлял: „К Семенову [в Москву] писал я единственно с тем намерением, чтобы уведомить его о действиях общества, в окончании ж прибавил, что успех в руках бога“.

О письме Пушина в Москву к С. М. Семенову и М. Ф. Орлову от 11 декабря 1825 года комиссии сделалось известно из показаний нескольких лиц. Отдельные фразы письма (которое Орлов сжег) в их показаниях в общем совпадали, и это дает возможность составить следующий сводный текст письма Пушина: „Когда вы получите сие письмо, все будет решено. Мы всякий день вместе у Трубедкого и много работаем. Нас здесь 60 членов. Мы уверены в 1000 солдатах, коим внушено, что присяга, данная императору Константину Павловичу, свято должна наблюдаться. Случай удобен; если мы ничего не предпри-

мом, то заслуживаем во всей силе имя подлецов. Покажите сие письмо Михаилу Орлову“. Семенов, в своем показании, так излагает письмо Пущина: „Он с 50 или 60 человеками, имея на своей стороне 1 000 или 1 500 гвардейских солдат и надеясь, что прочие к ним пристанут, намерены провозгласить императором цесаревича Константина Павловича, но плана, как сие произвести, еще не сделано, и чем все сие кончится, он не знает; он и спит в одежде, чтобы по первому зову явиться на площадь, и когда получу сие письмо, все уже будет кончено. В заключение просил показать его письмо нашим сочленам“. В показании Орлова есть любопытное добавление к тексту письма, очень характерное для Пущина: „Прощай, вздохни об нас, если“ и пр.

Уклончивость и осторожность — в показании от 12 апреля. Пущин как будто нарочно издевался над следователями: „Точно, общество, к которому я принадлежал, в 1824 году, если не ошибаюсь, приняло разделение на соединенных и убежденных, как уже показало мною при начале следствия. Относительно же прежнего хода оного я ничего подробно не знаю; все изменения общества должны быть известны тем, которые к оному принадлежали прежде меня и знали состав оного“. „Хотя,— говорит Пущин в показании от 6 мая,— не могу припомнить показанного Рылеевым разговора, но вероятно, он был, если он говорит сие. Мне неизвестно, чтобы общество приняло какие-либо меры для исполнения предположения об увозе

императорской фамилии за границу. Я был такого мнения, что должно действовать, услышав о надежде, которую имеют на некоторые полки, но противился грабежу и излишнему кровопролитию...“ Но уже на следующий день Пущин был вынужден, с очевидною горечью за слабость друга, показать по этому вопросу: „В полной мере утверждаю показание сие Рылеева с присовокуплением, что поручение сие не было сделано кн. Трубецким, а было обще нами признано в совещании за нужное...“

Наступила необходимость высказаться точно по вопросу о том, когда Пущин вступил в тайное общество и кто его ввел туда. Еще в показании от 16 мая Пущин издевается над комиссией и ссылается на умершего Черевина и вымышленного Беляева. Но когда следователи назвали имена и показали точные заявления, — Пущин 19 мая ответил: „По требованию комитета сям честь имею ответить, что действительно, в 1817 году принят был полк. Бурцовым здесь, в Петербурге, в члены общества. Признаюсь откровенно, что не хотел об'явить его, полагая его совершенно отклонившимся от общества. К крайнему стыду моему об'являю, что Беляев есть вымышленное лицо, которое мною при начале упомянуто. Сие отклонение от истины, от ложного стыда мною поддерживаемое и употребленное из некоторого чувства сострадания к Бурцову, теперь слишком кажется мне гнусным, чтобы еще продолжать тяжкую для меня о сем переписку. Совесть моя слишком много меня наказывает за сей

проступок. Предаю себя совершенно в рассмотрение комитета и в полной мере чувствую, что я дурно поступил“. Это последнее показание И. И. Пущина и, конечно, самое издевательское по отношению к следственному комитету.

Остался — и в следственной комиссии, и в литературе — невыясненным вопрос о вхождении Пущина в масонские организации и о деятельности его там. Так, В. И. Семевский в своем исследовании о декабристах-масонах не упоминает имени Пущина. Но А. Я. Булгаков, в своих воспоминаниях о московских арестах после 14 декабря 1825 года, пишет об „обществе семисторонней звезды“ и упоминает Пущина, как члена этого общества. Он же в письме к брату, от 22 февраля 1826 года, сообщает: „Отсюда попался также к негодяям петербургским молодой Пущин, служивший при князе... У этого Пущина есть здесь приятели. Они составили так называемое братство семиугольной звезды... Тут Данзас, Кашкин, Пущин...“ Наконец, внук И. И. Пущина, Л. И. Пущин, сообщил мне, что в семейных преданиях есть известие о принадлежности его деда к масонскому обществу.

В списке лиц, преданных Верховному уголовному суду, И. И. Пущин помещен в числе членов Северного общества. В росписи, содержащей приговор суда, он включен в рубрику „государственных преступников первого разряда, осужденных к смертной казни отсе-

чением головы“. Здесь читаем: „Коллежский асессор Пушкин участвовал в умысле на царевубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного; участвовал в управлении общества, принимал членов и давал поручения; лично действовал в мятеже, возбуждая нижних чинов“. В одной из самых кратких формулировок обвинительных пунктов по делу Пушкина говорится следующее: „И. И. Пушкин припят в Союз Благоденствия в 1817 году. В 1823 году избран членом Северпой думы. Знал о деле Южного общества ввести республику, но не одобрял. В 1824 году слышал о заговоре в 1823 году при Бобруйске покунуться на жизнь императора Александра I и в 1825 году, бывши в Москве, слышал о злоумышлении Якубовича. Из находившихся в Москве членов заводил управу, которая вскоре разрушилась. В С.-Петербург приехал за шесть дней до 14 декабря, участвовал в совещаниях о начатии возмутительных действий; соглашался на устранение царствующего дома от престола и вместе с другими обнимал Каховского, когда Рылеев убеждал его убить ныне царствующего императора; он взялся ободрять войска на площади, где оставался до картечных выстрелов, расхаживая по фасам, поощрял солдат к мятежу и при наступлении кавалерии на чернь скомандовал переднему фасу взять ружья от ноги“.

По конфирмации приговора, осужденным по первому разряду, в том числе и Пушкину, смертная казнь была заменена ссылкой „вечно на каторжные ра-

боты“ с лишением чинов и дворянства. Еще через несколько дней Пущин был перечислен в ту группу осужденных по первому разряду, которым срок каторжных работ был определен в 20 лет, со ссылкой затем на поселение.

Во время чтения приговора, 13 июля 1826 года, Пущин единственный пытался протестовать против осуждения его и товарищей и выступил из рядов декабристов с речью. Начальство зашикало на смельчака и велело увести весь первый разряд в казематы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПУЩИН В СИБИРИ

В Чите и Петровском он только и хлопотал о том, чтобы никто из его товарищей не нуждался.

Н. В. Басаргин.

Ему удивлялись сами товарищи его по ссылке.

Е. И. Якушкин.

До отправления на каторгу в Сибирь Пущина продержали двадцать месяцев в Шлиссельбургской крепости. Здесь он сидел рядом с Н. А. Бестужевым, с которым перестукивался по изобретенной последним тюремной азбуке. Свиданий не давали — ни с товарищами, ни с родными. Духом Пущин был тверд попрежнему и писал родным, что вопрос о политическом значении 14 декабря не подлежит рассмотрению в плоскости, в какую его поставил победитель.

Осенью 1827 года, Пущин с несколькими товарищами был отправлен в Читу на каторгу. Вез их фельдшер Желдыбин, грубый и злой человек. Он обхо-

дился жестоко к осужденными, которых вез, не давая им ни есть, ни отдохнуть, бил ямщиков, загопал лошадей — все для того, чтобы припрятать побольше денег из отпущенных ему на содержание декабристов в пути.

Через двадцать пять лет Пушкин писал Ф. Ф. Матюшкину об этой поездке с Желдыбиным: „Ты можешь себе представить, как я был счастлив, когда в одно прекрасное утро (12 октября), в Шлиссельбурге раньше обыкновенного приносят мне умывальник и вслед за тем чемодан. Вывели на гауптвахту, где я увидел двух товарищей. Мы до того обрадовались друг другу, что когда надевали нам цепи, мне казалось, что это самый удобный наряд, хоть они были десяти фунтов весу и длиною только в поларшина. Трудно было попасть в телегу, которая ожидала на берегу Невы. Помчались по замерзлой осенней дороге — тряско, но приятно было дышать свежим воздухом и двигаться после долгой тюрьмы. Где же тебе рассказывать все мелочи путешествия? Это было бы похоже на рассказ Шехерезады. Примчались мы трое в Тобольск с фельд’егерем — именно примчались, я не раз говорил ему, что ехавши в каторжную работу, кажется незачем так торопиться, но он по своим расчетам бил ямщиков и доказывал свое усердие к службе“.

Сохранился любопытный дневник путешествия Пушкина из Петербурга в Сибирь. Это обширное письмо его к родителям и сестрам, составившееся на ноч-

легах и остановках с 17 по 31 октября 1827 года. Письмо это Пущин дал сопровождавшему его в Сибирь жандарму для доставления родителям. На обратном пути в Россию, близ гор. Мологи, Ярославской губернии, жандарм потерял мешок со своими вещами, среди которых была и фуражка, с зашитым в ней письмом-дневником Пущина. Ярославский губернатор отправил мешок в III отделение, где и сохранились две копии с этого письма. Где находится подлинник и был ли он доставлен по назначению, выяснить не удалось. Дневник очень интересен и для характеристики настроения декабристов во время переезда из России на каторгу, и для характеристики самого Пущина с его постоянными заботами о друзьях и товарищах, несмотря на собственные свои лишения, и для характеристики отношения к осужденным заговорщикам общественных и правительственных кругов. Приведу из дневника только те места, которые имеют указанное здесь значение.

„С каким восхищением я пустился в дорогу, которая, удаляя от вас, сближает. Мои товарищи Поджио [А. В.] и Муханов [П. А.]. Мы выехали 12 октября, и этот день для меня была еще другая радость — я узнал от фельд’егеря, что Михайло [М. И. Пущин за участие в заговоре разжалован в солдаты, сослан на Кавказ; за отличие произведен в 1827 году в унтер-офицеры, а затем в прапорщики] произведен в офицеры.

Будущее не в нашей воле, и я надеюсь, что как бы

ни было со мной — будет лучше крепости, и верно вы довольны этой перемене, которую я ждал по вашим посылкам, но признаюсь, что они так долго не исполнялись, что я уже начинал думать, что сапоги и перчатки присланы для утешения моего или по ошибочным уведомлениям, а не для настоящего употребления.

Аннетт [сестра], надеюсь, что ты будешь аккуратна попрежнему, однако, будь осторожна с лимоном [переписка тайным способом], ибо Муханов мне сегодня сказал, что уже эта хитрость открыта, и я боюсь, чтобы она не повредила. Пиши смело о делах семейных и об друзьях.

Об Муханове уведоми как-нибудь сестру его. Она живет в Москве, на Пречистенке, и замужем за Шаховским [Вал. Мих.; его сестра за декабристом А. Н. Муравьевым], зовут ее Лизавета Александровна. Скажи ей, что брат ее перевезен был из Выборга для присоединения к нам двум — и слава богу мы все здоровы.

Заметь, в какое время нас отправили, но слава богу, что разделались с Шлиссельбургом, где истинная тюрьма. Впрочем, благодаря вашим попечениям и Плуталову [комендант Шлиссельбурга], я имел бездну пред другими выгод; собственным опытом убедился, что в человеческой душе на всякие случаи есть силы, которые надо уметь сыскать.

Вы не можете себе представить, с каким затруднением я наполняю эти страницы в виду спящего фельд'егеря в каком-нибудь чулаше. Он мне обещает через

несколько времени побывать у батюшки, прошу, чтобы это осталось тайною, он видел Михайла два раза, расспросите его об нем. Не знаю, где вообразить себе Николу [брат И. И.], умел ли он что-нибудь сделать? Я не делаю вопросов, ибо на это нет ни места, ни времени. Из Шлиссельбурга не было возможности никак сладить, ибо солдаты в ужасной строгости и почти не сходят с острова. Я слышал, что Вальховский [В. Д., лиценст первого курса, был близок к тайному обществу, но отделался от наказания] воюет с персами; не знаю, правда ли это; мне приятно было знать, что наш товарищ по несчастью оставлен дышать свободнее в других крепостях.

Завтра две недели, что мы путешествуем [запись от 25 октября]. Я имел дорогой две прелестные минуты, о коих я должен с вами побеседовать и коими я наслаждался со всею полнотою моего сердца. В Ярославле Якушкина с матерью имела свидание с мужем [декабрист И. Д.], который ехал перед нами. Мы приезжаем туда вечером пить чай, вдруг является к нам [слово перазб.] и спрашивает, не имеем ли мы в чем-нибудь надобности — мы набрали табаку и прочих вещей для дороги. — Это был человек Уваровой [Е. С.], сестры Лунина [М. С., декабрист], которая ждала своего брата Лунина. Она пришла в дом и вызвала фельд'егеря; от него узнала, что здесь Муханов, которого она знает и какими-то судьбами его пустили к ней. Вслед за сим приходят те две и вызывают меня, но как наш командир перепутался и я не хотел, чтобы из этого вышла

им какая-нибудь неприятность, то и не пошел в коридор, начал между тем ходить вдоль комнаты, и добрая Якушкина [Анаст. Вас.] в дверь меня позвала и начала говорить, спрося, не имею ли я в чемнибудь надобности и не хочу ли вам писать. Меня это так восхитило, что я бросился целовать руки у этой милой женщины. Мать ее [Над. Ник. Шереметева] благословила меня образом и обещала непременно скоро с вами повидаться в Петербурге.

Сегодня мы пагнали Якушкина, и он просил, чтобы вы им при случае сказали по получении сего письма, что он здоров, с помощью божьей спокоен. Вообрази, что они, несмотря на все неприятные встречи, живут в Ярославле и снабжают всем, что нужно. Я истинно ее руку расцеловал через двери — я видел в ней сестру, и это впечатление надолго оставило во мне сладостное воспоминание — благодарите их.

Второе — в Вятке я узнал, что тут некоторое время жил Горсткин [И. Н., декабрист] под надзором губернатора, и у него была вся семья, и вот уже несколько времени, что он отправился в деревню.

Еще тут же я узнал, что некто Медокс, который 18-ти лет посажен был в Шлиссельбургскую крепость и сидел там 14 лет, теперь в Вятке живет на свободе. Я с ним познакомился в крепости, и там слух носился, что он перемещен в другую. Это меня мучило¹.

¹ Это проходивец, хотевший на страданиях декабристов сделать карьеру; о нем см. С. Я. Штрайх „Роман Медокс, похождения русского авантюриста XIX века“, М. 1930 С. III.

Пусть меня всего лишают, я все переживу, но за что же вас наказывать? Истинно вам говорю, что для меня и верно для нас всех тяжелее преступления огорчение родных.

Последнее наше свидание в Питере было так скоро и беспорядочно, что я не умел выйти из ужасной борьбы, которая во мне происходила от радости вас видеть не в крепости и горести расстаться, может быть, на веки. Я думаю, вы заметили, что я был очень смешон, хотя и жалок.—Хорошо, впрочем, что так удалось свидеться. Якушкин мне говорил, что он видел в Ярославле семью свою в продолжении 17 часов и также все-таки не успел половины сказать и спросить.

Пожалуйста, Алексей [слуга Пудина], сохраняя свое мужество—авось когда-нибудь еще здесь увидимся.

Пишите ко мне и иногда присылайте книг, если можно, в Перчинское, на имя коменданта. Что-нибудь исторического или религиозно-философского.

Eudoxie, ты добра и готова на всякое пожертвование для меня, но прошу тебя не ехать ко мне, ибо мы будем все вместе, и вряд ли позволят сестре следовать за братом, ибо, говорят, Чернышевой [сестра декабриста З. Г.] это отказано. Разлука сердец не разрушает.

Я надеюсь, что Михайла с вами в переписке. Как я рад, что он опять офицер; напишите, чтобы он ко мне послал грамотку, авось дойдет. Николая! Как часто я вспоминаю пашу переписку в Алексеевском равелине. С нетерпением жду продолжения.

Прошу тебя со свойственной тебе осторожностью приложенную при сем записку вручить своеручно коллежскому ассессору Казимиру Казимировичу Рачинскому, который живет у Каменного театра, в доме Гаевского, и служит в иностранной коллегии. Ты с ним познакомишься при этом случае. Он может быть вам полезен, ибо он знаком с Лавинским [А. С., ген-губернатор Вост. Сибири]. Эта записка от Александра Поджио [декабрист], который со мною едет.

Прощайте до Тобольска — мы спешим. В знак, что вы получили эту тетрадку, прошу по получении оной в первом письме ко мне сделать крестик X. Это будет ответом на это бестолковое, но от души набросанное мараенье; я надеюсь, что бог поможет ему дойти до вас. Я вам в заключение скажу все, что слышал о нашей будущности.

Сегодня в 8 часов утра [31 октября] мы переехали Иртыш и увидели на горе Тобольск. День превосходный, зимний, и мы опять в санях. — Ясно утро — ясна душа моя. Остановились прямо у губернатора, который восхитил меня своим ласковым и добрым приемом, говорил с нами очень долго и с чувством. Между прочим сказал, что Евгений [декабрист Е. П., Оболенский] давно спрашивал обо мне. Он обещал сказать ему обо мне сегодня же и сообщить мне от него, что он знает об вас. С нетерпением жду этого, хотя эти известия будут не очень свежи. Я уверен, что это Иван Александрович [Набоков, муж сестры Пушкина, Ек. Ив.] с ним в переписке и пишит его обо мне.

Губернатор велел истопить нам баню, и мы здесь проведем два дня, чтоб немного отдохнуть и собраться с силами на дальнюю дорогу. Фельд'егерь едет назад с одним жандармом, а другие двое с частным приставом на обывательских лошадях везут нас до Иркутска, где с нас снимут цепи. Мы теперь живем на квартире и добрый полицмейстер нас угощает, как доброй и попечительной человек.

Теперь надобно вам сообщить то, что я слышал об нашей участи, может быть, оно не верно, но по крайней мере, как говорят, мы все будем в местечке Читинская (найдите на карте). Это между Иркутском и Нерчинском. Будем жить четверо в одной комнате и ходить на какую-то работу, но без принуждения большого. Работе всякой я рад, ибо, говорят, не дадут нам ни бумаги ни пера. Книжки, надеюсь, у нас не возьмут, это ужасно, если лишит сего утешения. Насчет нашей переписки говорят разно, и потому я не знаю, что думать — утешаюсь надеждой. Буду всячески стараться и законно, и незаконно к вам писать. Удавалось — авось удастся и оттуда.

Лепарский отличный человек, и это заставляет меня думать, что правительство не совсем хочет нас загнать. Егор Антонович [Энгельгардт] часто со мной — особенно в наши праздники.

Письмо Муханова отошли осторожно по адресу. Почтенного священника [свящ. П. Мысловский, духовник декабристов в Петропавловской крепости, приятель многих из них], благодарите, обнимите.

Прошу тебя, милая Аннетт, уведомить меня, что сделалось с бедной Рылеевой [вдова повешенного порта-декабриста]. Назови ее тетушкой Кондратьевой. Я не говорю об Алексее, ибо уверен, что вы все для него сделаете, что можно, и что скоро, получив свободу, будет фельд'егерем и за мной приедет“.

1 ноября Пушкин выехал из Тобольска, в конце декабря он был в Иркутске и отсюда писал отцу о своем печальном будущем: „Шесть тысяч верст между нами, но я при всех малых ожиданиях на помощь правительства не теряю терпения и иногда даже питаю какие-то надежды. Нас везут к исполнению приговора; сверх того, как кажется, нам будет какая-то работа, соединенная с заключением в остроге,— следовательно, состояние гораздо худшее простых каторжных, которые, хотя и бывают под землей, но имеют случай пользоваться некоторыми обеспечениями за доброе поведение и, сверх того, помощью добрых людей устроить себе состояние довольно сносное. Между тем как нас правительство не хочет предать каждого своей судьбе и с некоторыми почестями пред другими несчастными (как их здесь довольно справедливо называют) кажется намерено сделать более несчастными.

Например, ужасно то, что сделали с нашими женами, как теперь уже достоверно мы знаем (желал бы, чтобы это была неправда!). Им позволено и законами и природными всеми правами быть вместе с мужьями.

После приговора им царь позволил ехать в Иркутск, их остановили и потом потребовали необходимым условием быть с мужьями — отречение от дворянства, что, конечно, не остановило сих несчастных женщин; теперь держат их розно с мужьями и позволяют видаться только два раза в неделю на несколько часов и то при офицере. Признаюсь, что я не беру на себя говорить об этом, а еще более судить; будет, что богу угодно.

Мы выехали из Тобольска 1-го ноября на обывательских лошадях с жандармами и частным приставом, который так добр, что на ночь позволяет нам снимать цепи; что мы делаем с осторожностью, ибо за этими людьми присматривают, и всякое добро может им сделать неприятность“. Наконец, в первых числах января 1828 года Пудин и его товарищи прибыли в Читу. Началась каторжная работа.

В Чите Пудин застал И. Д. Якушкина и был помещен в одной комнате с ним и со многими другими товарищами. В каземате было так тесно, что ночью на нарах на каждого приходилось в ширину не более аршина. В читинском каземате декабристы вели жизнь на артельных началах, поочередно заведывали хозяйством, убирали камеру. К обеду сторож приносил огромную миску щей, крошеное мясо и нарезанный хлеб; ножей и вилок заключенным не полагалось. Ложки отпускались деревянные или оловянные, вместо тарелок пользовались деревянными чашками. После обеда по очереди мыли посуду.

Теснота в камерах была такая, что заниматься чем-нибудь в свободное от работ время не было возможности, развлекались игрой в шахматы да рассказами. Пушкин рассказывал товарищам о Пушкине, читал им непооявившиеся еще в печати стихотворения поэта, сообщал подробности из их лицейской жизни.

В Чите Пушкин пробыл свыше двух с половиной лет. Жизнь в читинской тюрьме была обставлена сурово, однако еще в августе 1828 года с декабристов были сняты кандалы. Природа края была к ним более благосклонна, чем начальство. „Местность и климат Читы,— по словам товарища Пушкина, Н. В. Басаргина,— были бесподобны, растительность необыкновенна. Воздух был так благотворен, что все в Чите очень поздоровели. Приехавши туда изнуренные крепостным заключением и нравственными испытаниями, вскоре избавились от всех последствий перенесенных страданий. Конечно, этому много способствовала молодость, но и климат оказал большую помощь. Отсутствие телесных недугов имело необходимое влияние на расположение духа. Мы были веселы, легко переносили свое положение и, живя между собою дружно, бодро и спокойно смотрели на ожидавшую нас будущность“. Хотя многие из ссыльных были обзаны своей печальной участью излишней болтливости некоторых товарищей, но упреков друг другу не делали: „Никто не позволял себе даже замечаний другому, как он вел себя на следствии“.

И, конечно, Пущин первый, при врожденной доброте своей, при неисчерпаемой любви к товарищам по несчастью, при неизменном оптимизме, наполняющем все его сибирские письма к родным и друзьям,— проявлял исключительное доброжелательство и расположение к товарищам. В письмах к сестрам, к Малиновскому, к Энгельгардту он то и дело просил оказать содействие его товарищам по каторге и ссылке, хлопотал за их родных, за них самих. Много хлопотал он и за людей посторонних. Эти постоянные заботы Пущина о других, его предстательство за всех нуждающихся, создали ему даже в интимном кругу репутацию Маремьяны-старницы, как он и сам в шутку называл себя.

Пока декабристы молили муку в Чите и засыпали Чертову могилу, для них в Петровском заводе, Иркутской губернии, Верхнеудинского уезда, строилась специальная тюрьма.

Сначала их хотели расселить в разных местах Сибири почти в одиночку, что имело бы для них губительные последствия. Потом был проект сослать их в мрачный Акатуй, но комендант читинской тюрьмы ген. С. Р. Лепарский, которому Николай вверил судьбу осужденных заговорщиков, выхлопотал разрешение выстроить в Петровском тюрьму для совместного поселения всех декабристов. А совместная жизнь с друзьями и политическими единомышленниками, с людьми одного умственного уровня и воспитания, помимо

даже присутствия жен некоторых из них, морально поддерживала декабристов, дала им нравственную опору друг в друге, наконец, немущим из них предоставила материальную помощь.

В середине лета 1830 года торжественной процессией, в экзотической обстановке, отправились декабристы двумя партиями из Читы в Петровск. Путешествие продолжалось свыше полутора месяцев и оставило у сосланных заговорщиков хорошие воспоминания. В начале осени они прибыли в Петровский завод, где их ожидал неприятный сюрприз: тюрьма была без окон, а потом их прорубили, но очень высоко, и свет через них был почти равен прежней темноте. Это было особенно тягостно после привольного путешествия из Читы в завод, когда декабристы почти два месяца провели на свежем воздухе, в хорошей местности, в легкой, приятной прогулке.

В письме к сестре от 29 ноября 1830 года Пущин описывает эту гнетущую обстановку петровской тюрьмы. „Постараюсь, сколько могу, дать вам ясное понятие о столь занимательной для вас тюрьме. Она построена четвероугольником, но до сих пор казематы занимают только три фаса, четвертый же обнесен частоколом. Здание сие построено на конце заводского селения по другую сторону речки на ровном месте, примыкающем к горе. Ворота сделаны в среднем фасае, возле оных находится гауптвахта, мимо которой надобно проходить. Входя во двор, против самого входа вы видите особое строение, где находится

кухня с большой комнатой для обеда и с разными кладовыми для запасов. Кругом видите вы отдельные дворы, обнесенные частоколом, куда выходят окна коридора; коридор разделен на 12 отделений, шириною он в три аршина; в каждом отделении по пяти номеров, а в некоторых и шесть — всего 64 номера. Против каждого окошка в коридоре находится дверь, ведущая в комнату и над которою прорублено другое окно, величиною более квадратного аршина, и оно-то должно освещать каземат, имеющий восемь аршин глубины, шесть ширины и пять вышины. Освещение сие, конечно, довольно скромно и не позволяет заниматься при самой ясной погоде иначе как с открытой дверью. Тот фас, где мы живем, особенно темен, потому что солнечный луч никогда к нам не доходит и, следовательно, окна в коридоре очень сильно замерзают при больших морозах“.

Желпы декабристов подняли тревогу, и родственники их в Петербурге сумели добиться улучшения тюремной обстановки. Но пока велась официальная переписка, узникам пришлось около года пробыть почти замурованными, всегда при искусственном освещении. К тому же казематы были построены наспех, в них беспрестанно были поправки, часто загорались стены, ничем не отделенные от печей, в комнатах было холодно. Система надзора была такая сложная, что декабристы находились под четырьмя замками.

Но постепенно наладились сношения с родными, стали получаться от них книги и журналы. Все, что

издавалось замечательного в России, все, заслуживающее внимания из заграничных изданий, выписывалось в Сибирь. Читали в артельном порядке, по очереди. Устраивали и музыкальные вечера, концерты. Особенно торжественно праздновали день 14 декабря.

Работа каторжная была в Петровском такая же, как и в Чите — мололи хлеб на ручных мельницах. „В Петровском заводе для развлечения мы мололи муку“, — писал позднее Пушкин. Прогулки происходили на большом дворе, где любители разводили животных, цветники, огороды. Пушкин тоже имел в каторге и ссылке свой сад.

Были среди сосланных нуждавшиеся материально: от юдних отшатнулись родные — из жадности или из желания доказать правительству свою преданность, другие просто были бедны. В Сибири были декабристами учреждены две артели для помощи нуждающимся товарищам на каторге и в ссылке и для помощи им же и их семьям по освобождении сосланных. Пушкин был одним из главных деятелей этих артелей. И. Д. Якушкин, Д. И. Завалишин и другие рассказывают про постоянные хлопоты Пушкина по делам артелей, в письмах его самого за 40-е и 50-е годы много упоминается об этом. Он же был щедрым пайщиком артелей.

Прошло 12 лет каторжных работ, и Пушкин был в 1839 году сослан на поселение в гор. Туринск, То-

больской губ. В августе он писал сестрам с пути, из Иркутска, а в октябре был уже в Туринске.

Тяжело было Пушкину расставаться с товарищами, с которыми он сжился за 12 лет пребывания в Петровском заводе и в Чите. По просьбе родных к нему перевели Е. П. Оболенского, с которым они прожили в Туринске до 1843 года, когда Пушкина перевели в Ялуторовск. В Туринске он виделся в 1842 году с братом Н. И. Пушкиным, который приехал в Сибирь для ревизии судебных мест и привез декабристам вести об их родных. Здесь же братья получили известие о кончине отца.

В Туринске, как и в других городах Сибири, где он жил на поселении, Пушкин вел образ жизни подзащитного интеллигента, занимался обучением детей местных жителей и другого рода просветительной деятельностью. Между прочим, на поселении он занимался переводом с французского. Вот что Пушкин писал Энгельгардту 6 июня 1841 года: „С прошедшей почтой Марья Петровна Ледантю [теща декабриста В. П. Ивашева и бабушка писателя Д. В. Григоровича] отправила к вам, почтенный друг Егор Антонович, Паскаля в русском костюме. Постарайтесь напечатать этот перевод товарища моего изгнания Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина. Он давно [трудился] над этим переводом и общими силами кончили его в бытность мою в последний раз в Тобольске. Вам представляется право распорядиться, как признаете лучшим: может быть, эту руко-

дись купит книгопродавец; может быть, захотите открыть подписку и сами будете печатать? Цель главная — выручить денег, потому что Пушкин с братом больным не из числа богатых земли. Чем больше им придется получить, тем лучше.

Мы не знаем положительно, явился ли Паскаль на нашем языке. Справлялись со всеми возможными каталогами, и нигде его нет. Значит, что если и был когда-нибудь этот перевод в печати, то очень давно и вероятно исчез. Может быть, и трудность этой работы останавливала охотников приняться за старика (как говаривал наш профессор Галич). Одним словом: вы, почтенный мой Директор, на месте все узнаете, учините надлежащие справки — и пустите в ход Сибиряка. Вам позволено погладить его, если кой-где найдете это нужным. Вы не поскучаете этим делом, я убежден. Петерпеливо жду вашего мнения и о переводе, и о надежде к изданию“.

Перевод Паскаля Пушин предпринял, чтобы материально помочь декабристам братьям И. и П. Бобрищевым-Пушкиным. Ничего из этого дела не вышло, как впоследствии сам Пушин писал Энгельгардту. „Мысли“ Паскаля вышли в Петербурге в 1843 году в русском переводе Ив. Бутковского с цензурным разрешением от 11 июня 1840 года.

Хотя Пушин и говорит в письме к отцу о „наших женах“, которых дарь сначала не хотел пускать к их сосланным мужьям-декабристам, но сам он в Си-

бири официально не был женат. Его лицейский директор Е. А. Энгельгардт, повидимому, высказал в письме к Пушкину свое предположение, что если бы он захотел, то какая-то, неизвестная нам, девица, знавшая Пушкина до ссылки, согласилась бы посхать в Сибирь и выйти там за него замуж. И. И. Пущин отклонил это предложение, объясняя (в письме от 4 декабря 1837 года, из Петровского завода) свой отказ нежеланием подвергать эту особу лишениям подневольной жизни в Сибири и своими домашними обстоятельствами. „Как же вы хотите,— писал Пущин Энгельгардту,— чтоб я позволил себе мечты и вообразил, что могу упрочить чье-либо счастье и что память обо мне возбуждает что-нибудь, кроме сердечного сострадания к теперешнему моему положению, не совсем обыкновенному?

Что вы сами скажете про человека, понимающего все лишения, неразлучные с настоящим и будущим его существованием, если он решится принять великодушную жертву, на которую так способно возвышенное сердце женщины? И где же взять те убеждения, без которых не создается ничего прочного? Все эти вопросы доказывают вам, почтенный Друг, что я на добрые ваши слова обращаю взор не шуточный, но исполненный той же любви и доверенности, которые вы мне показываете. Во всем, что вы говорите, я вижу с утешением заботливость вашу о будущности; тем более мне бы хотелось, чтоб вы хорошенько взвесили причины, которые застав-

ляют меня как будто вам противоречить, и чтоб вы согласились со мною, что человек, избравший путь довольно трудный, должен рассуждать не одним сердцем, чтоб без упрёка идти по нем до конца. Так я всегда думаю, и потому мысль моя никогда не останавливалась на возможности супружества для меня. Ни лета мои, ни положение, ни домашние обстоятельства не позволяют мне искать чего-нибудь нового, приятного, когда все около меня загадочно и неопределенно.

Добрый друг мой, сколько мог, я вам, одним вам высказал мои мысли, по совести, вы меня поймете. Между тем, позвольте мне думать, что одно письменное участие ваше представило вам нечто в мою пользу; в заключение скажу вам, что если бы и могли существовать те чувства, которые вы стараетесь угадать, то и тогда мне только остается в молчании благоговеть пред ними, не имея права, даже простым изъяснением благодарности, вызвать на такую решимость, которой вся ответственность на мне. Таков приговор судьбы моей.

Об одном прошу вас: не обвиняйте меня в непризнательности к попечительной вашей дружбе. Поистине, не заслуживаю такого упрёка, и мне кажется, что если бы я иначе думал и отвечал вам, то вы могли бы считать меня легкомысленным и недостойным той доверенности, которою я дорожу и которую стараюсь оправдать добросовестностью". Однако, можно думать, что главной причиной откло-

нения Пушиным жертвы со стороны девцы, о которой ему писал Энгельгардт, были его сибирские внебрачные связи.

Выехав в 1843 году из Туринска, И. И. Пушкин привез оттуда с собою в Ялуторовск годовалую дочь Аннушку (родилась 8 сентября 1842 года). В 1857 году Аннушку встречал в Нижнем-Новгороде поэт Т. Г. Шевченко, которому рассказывали, что мать ее — простая якутка. Сохранилось несколько строк И. И. Пушкина к этой женщине в письме к М. И. Муравьеву-Апостолу из Тобольска, от 24 мая 1849 г. Эти строки поражают своей сухостью в сравнении с другими письмами Пушкина к родным: „Сегодня вечером будет неделя, что я расстался с тобой, милая Аннушка, а все еще в двухстах пятидесяти верстах от тебя, друг мой. Как-то ты поживаешь? Будет ли сегодня с почтой от тебя весточка? Нетерпеливо жду твоего письма. Хочется скорей узнать, что ты здорова и весела. Поделуй за меня Анеточку и поклонись Михеевне. Ей также очень кланяется Матрена, которая у Вольфа“. Шевченко очень возмущался „незаконными“ связями Пушкина и так пишет об этом в своем дневнике за ноябрь и декабрь 1857 г.: „Кончил сегодня портрет М. А. Дороховой [директрисса женского института в Нижнем, иркутская приятельница декабристов, взявшая к себе Аннушку — Ницу Пушкину на воспитание] и ее воспитанницы Нины, побочной дочери Пушкина, одного из декабри-

стов. Удивительно милое и резвое создание. Но мне как-то грустно делается, когда я смотрю на побочных детей. Я никому, и тем более защитнику свободы, не извиняю этой безнравственной независимости, так туго связывающей этих бедных побочных детей. Простительно какому-нибудь забубенному гусару, потому что он только гусар, но никак не человек; или какому-нибудь помещику-собачнику, потому что он собачник — и только.

Но декабристу, понесшему свой крест в Сибирь во имя человеческой свободы, подобная независимость непростительна. Если он не мог стать выше обыкновенного человека, то не должен и унижать себя перед обыкновенным человеком. Сообщили мне, что мать Пиночки — простая якутка — и теперь еще жива в Ялуторовске, и что отец ее, Пущин, служит где-то на видном месте в Москве, и что он женился на богатой вдове, некоей Коцебу, собственно для того, чтобы достойно и прилично воспитать свою Пиночку. Отвратительный отец“. Других сведений о матери Аннушки не удалось найти. В рассказе о женитьбе Пущина Шевченко ошибается. Пущин женился в 1857 году на вдове декабриста Н. Д. Фонвизиной не ради ее богатства, а по взаимной склонности, начавшейся еще в Сибири при жизни М. А. Фонвизина.

О дочери своей Пущин писал в 1852 году Ф. Ф. Матюшкину: „Моя Аннушка большие делает успехи на фортепиано — теперь учится, ходит к учителю, своего фортепиано нет. Хочется мне ей подарить хо-

роший инструмент, а денег Михайло [брат] обещал в будущем году прибавить. Следовательно, если ты можешь купить фортепиано, и послать, то мне сделаешь великое одолжение. В будущем году этот долг уплотится“. Аннушка Пушкина вышла 23 октября 1860 года в Нижнем-Новгороде замуж за Анат. Алекс. Палибина и умерла в начале 1863 года.

Вместе с Пушкиным прибыл в Ялutorовск Оболенский, который испросил себе разрешение на перевод туда. К Анпушке Пушкин пригласил пняю, вольноотпущенную девушку из крепостных, Варвару Самсонову Баранову, некрасивую наружностью, но сумевшую внушить чувство сильной привязанности Е. П. Оболенскому, который жил первые два года вместе с Пушкиным. Оболенский решил жениться на Барановой, против чего сильно восстали его ялutorовские друзья, особенно Пушкин, возмущавшийся намерением высокообразованного Оболенского связать свою жизнь с безграмотной и неразвитой девушкой. Отношения между друзьями обострились до того, что Оболенскому пришлось выехать от Пушкина. Он поселился отдельно, после чего и женился на Барановой. Однако, вскоре после женитьбы Оболенского состоялось примирение, и друзья зажили попрежнему. Так они прожили в Ялutorовске до амнистии вместе с другими тобольскими поселенцами.

Через несколько лет после женитьбы Оболенского у Пушкина, от одной из ялutorовских обывательниц, родился 4 октября 1849 года сын Иван (умер в 1918

году, в Орле, где был врачом). Мать его — вдова — требовала от Пущина, чтобы он на ней женился. Пущин соглашался исполнить ее желание, но, как рассказывает в своих воспоминаниях близко знавшая Пущина воспитанница М. И. Муравьева-Апостола, А. П. Сазонович, — с твердым намерением тотчас же после венчания пустить себе пулю в лоб. Молодая женщина, дорожа его жизнью и спокойствием, предпочла немедленно уехать из Ялуторовска на свою родину в Восточную Сибирь, а сына Пущина взял к себе. Как рассказывает Сазонович, после отъезда этой женщины Пущин по собственному почину собрал своих товарищей и откровенно исповедался перед ними, душою страдая за свой поступок, извинительный для них и неизвинительный в его собственных глазах никакою „женскою назойливостью“. Вообще, Пущин ценил в женщине привлекательность на ряду с хорошими манерами: „красавица без отпечатка хорошего общества, — говорит А. П. Сазонович, — теряла в его глазах всякую прелесть“. И сам он писал Энгельгардту с иронией про мужиковатую жену В. К. Кюхельбекера, способную отвлечь его самого от мысли о женитьбе.

Такой взгляд Пущина на совместную открытую жизнь с простой женщиной — матерью его детей — иногда объяснялся желанием его не огорчать своих родных. Известно, что Пущину приходилось переживать неприятности из-за недружелюбного отношения его сестер к его детям. Так, например, сибирский

приятель декабристов Я. Д. Казимирский, навещавший Пушкина в России после амнистии, писал Оболенскому после смерти Пушкина: „Вы знаете, что его тиранили его сестры. Как не хотели признать его детей и пр. Эти сердечные неудовольствия сломили этот сильный организм и убили нашего И. П.“ С. П. Трубецкой писал в 1860 г. Оболенскому же из Киева: „Велик для моего сердца недочет в Пушкине, что за теплая душа в этом человеке. Паш святой долг позаботиться о его сиротках, тем более, что как кажется, они отрезанные ломти от его близких семейных“. Однако сумел же Оболенский, происходивший из более аристократической семьи, противостоять натиску своих ялutorовских друзей и женился на необразованной вольноотпущенной. Сам Пушкин тоже проявил большую твердость характера, когда, вопреки слезным мольбам сестер, отказался от блестящей карьеры в гвардии для осуществления своих заветных демократических убеждений. Все эти брачные истории показывают, как сильны еще были в Пушкине предрассудки его класса, несмотря на весь демократизм его взглядов и на проявленную им в своей политической деятельности самоотверженность.

А. П. Сазопович рассказывает, что женщины преследовали Пушкина своей любовью: „Он очень нравился женщинам, и многие из них преследовали его своей любовью и брачными предложениями... Старые и молодые вдовушки были существенным несчастьем в жизни Ив. Ив., так как они смело и назойливо

шли на приступ, устраняя в крайнем случае не только необходимость брака, но и необходимость взаимных чувств. Подобные атаки не всякому стоику могли быть под силу, тем менее Пушкину, имевшему слабость к женщинам“. Есть в литературе сообщения об интимных отношениях Пушкина к жене декабриста М. П. Волконской, урожденной М. П. Раевской, воспетой Пушкиным, Некрасовым и другими поэтами. Сын декабриста И. Д. Якушкина, Е. И. Якушкин, посетив в 1855 году отца в Сибири, перепознакомился там со многими его товарищами и все их рассказы передает в письме к своей жене (оно опубликовано в 1926 году в сборнике под ред. Е. Е. Якушкина „Декабристы на поселении“). Вот что он пишет про семью С. Г. Волконского: „Этот брак, вследствие характеров совершенно различных, должен был впоследствии доставить много горя Волконскому и привести к той драме, которая разыгрывается теперь в их семействе. Любила ли когда-нибудь Марья Николаевна, жена Волконского, своего мужа — это вопрос, который решить теперь трудно, но, как бы то ни было, она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей, сосланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, не большой, ежели есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марьи Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири, говорят, что даже сын и дочь ее — дети не Волконского“...

В литературе о декабристах и прежде были намеки на нелады в семье Волконских, по такого прямого заявления не было. К сообщению безупречного в смысле правдивости и честной передачи слухов Е. И. Якушкина я прибавлю еще два факта, ярко освещающие приведенный здесь отрывок. В бумагах историка декабристов Н. К. Шильдера, хранящихся в Российской публичной библиотеке в Ленинграде, я видел его запись со слов Е. И. Якушкина о том, что сын Волконских — М. С. — рожден Марьей Николаевной от декабриста А. В. Поджио, а дочь — знаменитая красавица Пелли — от декабриста П. П. Пущина. Оба они были близки семье Волконских, а Поджио, приходившийся М. П. Волконской собственником, и в Сибири, и в России после амнистии, жил всегда вместе с Волконскими. Очень часто в своих письмах из Сибири и из с. Марьино Пущин с особенной нежностью упоминает Пеллиньку Волконскую. А на моем экземпляре статьи П. Е. Щеголева о Волконской, против слов автора о подвиге любви М. П. к мужу, ради которого она поехала в Сибирь, есть пометка известного генеалога К. А. Губастова о том, что это был подвиг страсти Волконской к А. В. Поджио.

О Пеллиньке Пущин писал (2 июля 1853 г.) Ф. Ф. Матюшкину по поводу ее выхода замуж (в 1850 году) за Д. В. Молчанова, чиновника особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири, человека, не пользовавшегося любовью знавших его: „Я никак

не думал, чтоб этот гусь вступил в нашу семью сибирскую.— Я в бытность мою в 1849 году в Иркутске говорил Пелшъкиной маминьке все, что мог, но видно проповедывал пустыне. Теперь остается только желать, чтоб не сбилось для этой бедной, милой женщины все, что я предсказывал от этого союза, хотя уже и теперь ее существование не совсем отрадно“.

Когда Пущин перехал в Ялуторовск, там постепенно собралось несколько его товарищей по изгнанию. Ялуторовскую колонию составляли И. И. Пущин, Е. П. Оболенский, М. И. Муравьев-Апостол, И. Д. Якушкин, В. К. Тизенгаузен. Вот как описывал Пущин (Е. А. Энгельгардту, в 1845 году) свою жизнь в Ялуторовске (привожу отрывки): „Вы очень справедливо заключаете, что я доволен моим пребыванием в Ялуторовске. Пас здесь пятеро товарищей; живем мы ладно, толкуем откровенно, когда собираемся, что случается непременно два раза в неделю; в четверг у нас, а в воскресенье у Муравьева. Обедаем без больших прихотей, вместе, потом или отправляемся ходить, или садимся за вишт, чтобы доставить некоторое развлечение нашему старому товарищу Тизенгаузену, который и стар, и глух, и к тому же, может быть, по необходимости охотник посидеть за зеленым столом. Прочие дни проходят в занятиях умственных и механических.

Слава богу, время не останавливается: скоро минет двадцать лет Сибирским, разного рода, существова-

ниям. В итоге, может быть, окажется, что-нибудь дельное: цель освящает и облегчает заточение и ссылку. Большого сближения с чиновным людом у нас нет; но вообще все они очень хорошо понимают нас и оказывают всевозможное внимание. Беда только в том, что народ все пустой, и большею частью с пушком па рыльце; это обстоятельство мешает и им быть с нами, зная, что мы явно против этого обычая.

Одна семья, с которою я часто выдаюсь, это семья купца Балакшина. Очень человек добрый и смысленный; приятно с ним потолковать и приятно видеть готовность его на всякую услугу; в полном смысле слова верный союзник, исполняет наши поручения, выписывает нам книги, журналы, которые иначе должны бы были с громким нашим прилагательным [слова „государственный преступник“ на конвертах] отправляться в Тобольск прежде нежели к нам доходить. Все это он делает с каким-то радушием и приязнью.

Горько слышать, что наше 19 октября пустеет; видно и чугунное кольцо стирается временем.

Вы все хотите иметь подробное сведение об Ялуторовске. Право, ничего нет особенно занимательного ни в политическом, ни в естественном отношении. Управление, т. е. Конституция, то же самое, что и за Уралом, с одною только существенною, коренною выгодою: нет крепостных. Это благо всей Сибири, и такое благо, которое имеет необыкновенно полезное влияние на край и без сомнения под-

винет ее вперед от России. Я не иначе смотрю на Сибирь, как на Американские Штаты. Она могла бы тотчас отделиться от метрополии и ни в чем не нуждалась бы — богата всеми дарами царства природы. Измените несколько постановления, все пойдет улучшаться.

Три дня погостил у меня оригинал Вильгельм [декабрист Кюхельбекер]. Проехал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал меня стихами до-нельзя; по правилу гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, эта новая задача провидения устроить счастье существ, соединившихся без всякой данной на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей.

Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит рас-

строенное здоровье и даже нервные припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества; а между тем, баба беснуется на просторе; он же говорит: „ты видишь, как она раздражительна!“. Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем. Между тем он вздумал было мне в будущем январе месяце прислать своего шестилетнего Минну на воспитание и чтоб он ходил в здешнюю Ланкастерскую школу. Я поблагодарил его за доверие и отказался.

Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко мне; но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противное. Он хотел к вам писать с нового своего места жительства. Прочел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило; он, бедный, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепостях и в Сибири. Не знаю, каково будет теперь в Кургане, куда перепросил его родственник, Владимир Глинка, горный начальник в Екатеринбургe.

Напрасно покойник Рылеев принял Кюхельбекера в общество, без моего ведома, когда я был в Москве. Это было незадолго до 14 декабря. Еслиб вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления сентенции [приговор], то вы просто погибли бы от смеху, не смотря, что он был тогда на сцене трагической и довольно важной.

Может быть, некоторые анекдоты до вас дошли стороной.

Вы все спрашиваете о положительных моих занятиях. Положительного одно, что всегда чем-нибудь занят и что даже время скоро идет. Случается кой-кому помочь, написать кому-нибудь деловую страничку, по которой выходит и доброе. Переводами занимался не один раз; между прочим перевел еще в Читинском остроге Записки Франклина. Первая часть — моей работы, а вторая Штейнгеля. Кажется, было порядочно, и предисловие с посвящением труда вам, почтенный друг. Вы еще в Лидее познакомили меня с этой дельной книгой. Послали ее и другие переводы к одному родственнику Муханова, здешнего моего товарища — все кануло в море: ни слуху, ни духу. Сколько ни справлялся, ничего нет. Черповую рукопись я истребил по случаю бывшего тогда тюремного осмотра. Нельзя было сохранить эту контрабанду: чернила были запрещены. История Паскаля вам известна. Я тогда же говорил Пушкину, что вряд ли будет на эту книгу сбыт.

Малютка наша Аннушка [дочь И. И.] мешает иногда нашим занятиям, но приятно и с ней повозиться. Ей скоро три года. Понятливая, не глупая девочка. Со временем, если бог даст ей и нам здоровья, возня с ней будет еще разнообразнее и занимательнее.

А почтовый день у меня просто как в каком-нибудь департаменте. Непременно всякую почту пишу и получаю письма. Сношения с родными, друзьями

утешительны. Надобно быть в Сибири, чтобы настоящим образом понять эту отраду. В эти годы накопилась целая библиотека добрых листов; погодно переплетены. Читайте сами, сколько томов составилось. Часто заглядываю на эту полку с улаждительным чувством. Судьба меня балует дружбою, мною незаслуженной. Сколько около меня товарищей, которые лишены даже родственных спонсаций: снятые эполеты все уничтожили, как будто связи родства и дружбы зависят от чинов и прочих пелендрасов. Жаль тех, которые не понимают чувства; но больно за тех, которым пришлось испытать эти разочарования.

Любопытны аттестации, которые дают об нас ежемесячно городничий и волостные головы. Тут вы видите невежество аттестующих и, смею сказать, глупость требующих от этих людей их мнения о том, что они не понимают, и не могут понять. Пишут обыкновенно: „занимается книгами или домашностью, поведение скромное, образ мыслей кроткий“. Скажите, есть ли какая-нибудь возможность положиться на наблюдателей, которые ничего не могут наблюдать?

Масса принимает за лекарей всех нас, и скорее к нам прибегает, нежели к штатному доктору, который всегда или большею частью пьян и даром не хочет пошевелиться. Иногда одной магнезией вылечишь, и репутация сделана, так что потом насилу можешь отговориться, когда является что-ни-

будь серьезное, где надобно действовать с знанием дела, или по крайней мере, ученым образом портить и морить.

Брат Петр прислал мне „Тарантас“. Верно, вы читали его и согласитесь, что это приятное явление на русском словесном поле. Надобно только бросить конец. Сон, по-моему, очень глуп. Мы просто проглотили эту новинку; теперь я ее отсылаю в Курган: пусть Кюхельбекер посмотрит, как пишут добрые люди легко и просто. У него же, напротив, все пахнет каким-то неестественным, расстроенным воображением; все неловко, как он сам, а охота пуще неволи, и говорит, что наше общество должно гордиться таким поэтом, как он. Извольте тут вразумлять! Сравнивает даже себя с Байроном и Гете. Ездит верхом на своем Ижорском, который от начала до конца нестерпимая глупость. Первая часть была напечатана покойным Пушкиным. Вам, может быть, случилось видеть бук и кикимор, которые действуют в этом, так называемом, Шекспировском произведении. Довольно“.

Пребывание декабристов в Сибири имело благотворное влияние на просвещение и культуру края. Личным своим присутствием, строем своей жизни декабристы знакомили бедное и малочисленное сибирское общество с европейской культурой. Выстроенные ими дома с обстановкой, присланной из России, после отъезда декабристов в другие пункты посе-

ления или на родину, передавались ими для местных общественных и просветительных нужд. Особенно много сделали декабристы для распространения грамоты среди сибирского населения — устройством школ, частным обучением у себя на дому, пробуждением местной инициативы в этом отношении. Велико было их влияние на усвоение местными жителями научно-практических приемов земледелия и других видов сельского хозяйства. Якушкин и Пущин были, например, пионерами ознакомления сибиряков с метеорологией. Оба они много поработали в учрежденных Якушкиным школах для ялуторовских мальчиков и девочек. Память о Пущине была жива в Ялуторовске еще в конце 70-х годов, и тогдашние ссыльные из политических слышали о нем отзывы, согретые нежной любовью и благодарной признательностью.

Кончилось царствование Николая Павловича. Первым узнал об этом в Ялуторовске И. И. Пущин. Сердца декабристов и других политических ссыльных забились надеждой на возвращение в Россию. Радовались они не только за себя лично, не только своей свободе. Пущин ждал свободы для родины, для дорогого его сердцу и мечтам народа, косневшего в рабстве и невежестве. Как большинство его товарищей, И. И. Пущин — через долгие годы каторжных работ в Чите и Петровском заводе, через десятилетия печальной ссылки в Сибири — пронес не-

охладевшими свои пылкие чувства любви к свободе общественной, сохранил нетронутыми и неизменными политические верования и убеждения своей молодости. Декабристов, по словам одного из них, поддерживали в это ужасное время „мечты о свободе, величии и счастье отечества, о золотом времени народных собраний, где царствует пламенная любовь к отечеству, о свободе, никем и ничем не ограниченной, кроме закона о полном благосостоянии народа“.

Еще в 40-х годах писал Пушкин Энгельгардту, с обидой за Россию, что в Сибири нет крепостных, и желал для изобилующей природными богатствами страны этой участи Сев.-американских соединенных штатов. А в тяжелую годину Севастополя душа его особенно болела за Россию, униженную, опозоренную и бесталанную в вождях своих. В далекой Сибири отверженные сыны России скорбели крымскими страданиями ее, а победители 1825 года вводили реформы в обмундировании армии, и это приводило Пушкина в патриотический ужас. „Мундиры бесят меня,— писал он брату,— как-то совестно читать о пуговицах в эту минуту“. В другом письме читаем: „Только одна вера в судьбы России может поспорить с теперешней тяжелой думой, исхода покамест не вижу“. Но эта вера в судьбы родины обусловливается убеждением в том, что она возродится только при политической свободе: „Согласитесь,— пишет Пушкин брату,— что пока дело общее — res publica — будет достоянием немногих, до тех пор ничего не

будет; доказательство — нынешние обстоятельства“.
„Просто тоска... Современные дела невероятно тягостят — как-то не видишь деятеля при громадных усилиях народа“.

Вообще Пущина сильно беспокоила судьба России в связи с Восточной войной 1853 года, закончившейся разгромом родины в Севастополе: „Иностранные флоты что-то копошатся близ Дарданел. Объясни мне все это,—просил он в июле 1853 года Ф. Ф. Матюшкина, который занимал тогда видное место в управлении морским ведомством.— Кажется, пенужно бы драться. Если хотят разделить Турцию, то это можно дипломатически сделать без всякой церемонии; если же в самом деле хлопоты о ключике¹, то не стоит так далеко из православия заходить и брать на плечи Европейскую войну. Вся Европа в патянутом положении, которое должно чем-нибудь разразиться. Рано или поздно должны столкнуться два начала. Я все надеюсь, что не с гнилого Запада явится заря, а с Востока, т. е. от соединения славянских племен“.

И через девять месяцев (в марте 1854 года) снова писал тому же другу своих лицейских лет: „Не знаю, что выйдет из всего хаоса, где перепуталось все. Вероятно, никто из самых закоренелых дипло-

¹ Подразумевается спор о том, кому владеть ключами к т. н. храму господню в Ерусалиме,— спор, послуживший формальным поводом к войне 1853—1855 годов. *СШ.*

матов не объяснит заданной обстоятельствами задачи. Ясно только, что Россия упала и подверглась такому контролю, которого прежде не смели выказывать. Повторяю с тобой, что она выйдет из этого затруднительного положения, но только усилий больших будет стоить“.

Жадно следил Пущин за общественным движением на родине, за всяким проявлением свободной мысли, конечно, в рукописной литературе, особенно широко распространенной в России во время Севастопольской страды. „Ты мне говоришь,— писал И. И. Пущин брату Н. И. в ноябре 1855 года,— что посылаешь то, что должна была везти Сашенька, но этого ничего нет! Видно, не угадало это отправление с Катериной Федоровной, иначе уж было бы у меня. Я тут думал найти „Вопросы жизни“, о которых ты давно говоришь. Я жажду их прочесть, потому что теперь все обращается в вопросы. Лишь бы они разрешились к благу человечества — а что-то новое выкраивается. Без причин не бывает таких потрясений“. „Вопросы жизни“ — письмо Н. И. Пирогова к его второй жене, посвященное вопросам воспитания свободного человека, напечатанное в августе 1856 года в виде статьи под приведенным заглавием и знаменовавшее переворот в направлении русской педагогики.

Об этом же Пущин писал брату 7 февраля 1856 года: „Корсаков провел у меня вечер 31 января,

с ним твое письмо от 11 января — со старым от 8 августа с „Вопросами жизни“ и с облатками. „Вопросы“ читаю с истинным удовольствием, но еще не кончил, потому что Евгений [Оболенский] взял и говорит, что я могу после него прочесть. Когда возвратит, передам тебе мое впечатление. Будь спокоен и успокой Пирогова — рукопись его не будет в чужих руках“.

Тем временем некоторым декабристам уже разрешалось выехать из Сибири — пока в связи с особыми личными или семейными обстоятельствами, но это усиливало надежду остальных на собственное освобождение. Радостно принял Пущин весть об освобождении его друзей Бобрищевых-Пушкиных: и за них, и за себя. А когда в марте стали отбирать у декабристов сведения об их семейном положении, что явно было связано с предстоящим освобождением, Пущин негодовал на оттяжки: „По моему мнению, нечего бы спрашивать, если думают возвратить допотопных... все-таки видно, что чего-то хотят, хоть не очень нетерпеливо“.

Наконец Пущин получил свободу, на общем основании со всеми декабристами, по манифесту 26 августа 1856 года.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

Иван Пущин сохранил свои верования, свои убеждения до последней минуты.

Декабрист Н. Р. Цебрков.

Амнистированным декабристам разрешили жить только в провинции. В'езд в столицы был Пущину запрещен, но жившая в Царском Селе престарелая сестра его, Е. И. Набокова, старшая в семье после смерти родителей, испросила разрешение на приезд брата в Петербург на три дня. В ноябре было получено это разрешение, а в 20 числа декабря 1856 года Пущин, задержавшийся по разным причинам в Сибири, был уже в Петербурге. С волнением переступал он порог Царскосельского дворца, где провел с Пушкиным целых шесть лет, и с нежной радостью рассказывал молодой своей спутнице, дочери известной А. О. Смирновой, о школьных годах великого поэта. По истечении первоначального срока Пущин получил отсрочку еще на 10 дней, а затем ряд других — для

лечения. В Петербурге он пробыл до мая 1857 года и выехал в Москву. По пути из Петербурга в Москву Пущин остановился близ Бологого, в имении лицеиста Д. А. Эристова, где состоялось его венчание с Н. Д. Фонвизиной. Прощаясь с родными в Петербурге, Пущин не говорил им о предстоящем своем браке, и ему пришлось потом оправдываться в скрытности перед братом и сестрами ссылкой на то, что тайна эта по ему одному принадлежала.

Если Пущин сумел отразить натиск сибирских вдовушек и угрозой самоубийства сумел избежать брака даже с матерью его детей, то не устоял он перед неотразимой влюбленностью экзальтированной вдовы своего товарища по ссылке Нат. Дм. Фонвизиной. Н. Д. Фонвизина, урожденная Алухтина (родилась в 1805 году), была женщина высшей экзальтированности, душевной и сердечной. В ранней молодости блестящая красавица, в которую все влюблялись, она едва не постриглась в монахини, всю жизнь была чрезвычайно религиозна и очень начитана в богословской литературе, так что успешно вела религиозно-философские диспуты с архиереями. Выданная замуж по семейно-финансовым расчетам девушкой-подростком за образованного, старшего ее более, чем вдвое, ген. М. А. Фонвизина, она выполнению семейного долга отдалась со всей страстностью своей натуры. Когда вскоре муж-декабрист был заключен в Петропавловскую крепость, 20-летняя Фонвизина проявила воспетый впоследствии Некрасовым

героизм жен декабристов. Неимоверными усилиями ей удавалось проникнуть в крепость и облегчить положение мужа.

Свою верность мужу П. Д. Фонвизина возвела в догмат. Позднее она говорила, что с нее Пушкин писал свою Татьяну. Одной из первых последовала она в Сибирь за сосланным мужем, оторвав от себя с кровью сердца двух трепетно любимых детей. В ссылке кипучая, вечно подвижная Фонвизина была неутомима в борьбе с начальством, стремившимся стеснять декабристов и особенно их жен, вообще вела борьбу с злоупотреблениями, вмешивалась в церковно-официальную жизнь, постоянно раз'езжала по местам расселения декабристов для ободрения их и для их об'единения.

С Пушковым у нее возникли особенно дружеские отношения с первых лет сибирской жизни, и она пользовалась всяким случаем видеться с ним. Привлекали Фонвизину поэтический склад души Пушкина, его философская созерцательность, сердечная доброта и умиленность. Она сумела даже простить ему скептицизм и насмешки над церковной религиозностью, хотя старалась навести Пушкина на путь истины. Это было бесполезно, так как М. С. Лупин правильно назвал Пушкина „хорошим язычником“.

Биограф П. Д. Фонвизиной В. И. Шенрок, имевший в своем распоряжении переписку ее с Пушковым, говорит, что любовь ее к Пушкину носила характер особый. „В самом пылу любовной горячности к Пу-

щину,— говорит Шенрок,— она едва устояла против чувственного искушения, в котором не только покаялась, но даже с самым подробным и искусным психологическим анализом изобразила сладострастную негу... Она прямо признавалась, что для усмирения бунтующей плоти и в посрамление себя в самые страшные минуты соблазна ставила перед собой портреты Пуштина и Бобрищева-Пушкина, чтобы эти изображения ее пристыдили и удержали от греха. „Кроме того, что стыдно,— говорила она,— я рискую потерять твою привязанность, рискую возмутить тебя подробностями“. После таких признаний не диво в переписке Нат. Дм. встретить воспоминания о неудовлетворенности первым замужеством, потому что хотя М. А. и был ангел, но не подходил к ее бурному темпераменту...“

После смерти мужа Фонвизина могла без укоров для своей чуткой совести переписываться с Пуштиним. В письмах к нему она исповедывала свои заветные чувства и помышления и с таким страстным нетерпением ждала его ответов, что окружающие по охватывавшему ее волнению узнавали, когда среди поданной почты было письмо от Пуштина.

Черты экзальтированности Н. Д. Фонвизинной отражаются в письмах ее к Пушину, в которых много аллегорических намеков и волнующих недосказанностей. „Ваше благодетельное участие,— пишет она в ответ на признание Пуштина в симпатии к ней,— зашевелило ретивое; я сквозь слезы взглянула на

божий свет и увидала, что и для меня светит солнышко“.

Называя себя в письмах Таней, 13-летней глупой и застенчивой девочкой, а Пушина — Назарием, рассудительным юношей, переходящим в мужской возраст, — Н. Д. писала ему: „Зачем бедная Таня сделала на вас такое сильное впечатление? Не берусь решить, ладно это или нет. Мне грустно, если я могу повредить вам, если моя буря, душевная отозвалась такою же бурей в вашей душе. Несчастное существо. Неужели мне суждено везде опалать, куда ни прикоснется мое огненное сердце“.

50-летняя Фоввизина боится насмешливой рассудительности 57-летнего Пушина и просит его скрыть ее письма от рара Poustchine, потому что „из всех элементов письма один сладкий пирог испечь можно, а рара любит трапезу посущественнее“. „Не бойся встретить Назария (т. е. проявить любовное увлечение юноши): перед тобой твоя бедная Таня, падшая пери, любящая, немощная женщина“. „Не хочу я твоей теплой дружбы, — возбуждает она чувство Пушина, — она остынет от осенних ветров, — дай мне любви, горячей любви, огненной, юношеской, и Таня не останется в долгу у тебя: она заискрится, засверкает перед тобой и засветится этим ярким огнем“.

„Все или ничего — был девиз мой с младенчества“ — пишет она Пушину. И Пушин, еще в 1837 году с тихой грустью писавший Энгельгардту, что мысль его никогда не останавливалась на возможности супру-

жества, ибо человек, „избравший путь довольно трудный, должен рассуждать не одним сердцем“; еще в 40-х годах писавший Фонвизиной по поводу ее стараний жепить его на одной их общей знакомой, что он не думает „стать на очередь запоздавших женихов“, что он „один раз в жизни думал жениться, но это не удалось — и дело кончено“; отвергавший настойчивость матерей его детей,— Пущин решил жениться.

П. Д. Фонвизина писала друзьям, что „Иван Иванович венчался в среду утром молодым, весь день был весел“. Но только сама она, несмотря на 52 года, была еще, действительно, молодым, Пущин же мог быть молодым в редкие моменты особого возбуждения. Сама Нат. Дм. отметила в одном письме, что здоровье Пущина было „плохо, все же лучше, что есть кому за ним походить“. Сам Пущин в письмах к родным уверяет, что очень рад женитьбе, не только с точки зрения семейных удобств, но и удовлетворенного сердечного влечения. Жена его, в приписках к письмам Пущина, говорит о своих родственных чувствах к семье мужа с настойчивостью, заставляющей подозревать, что отношение родных Пущина к его жене не разнилось от отношения их к его детям, охарактеризованного Казимирским, как тирания.

После венчания Пущин отправился в Москву, где его восторженно приняли все старые друзья и где ему пришлось вспомнить время сибирских гонений

вследствие придинок ко всем декабристам генерал-губернатора А. А. Закревского. Поселился он в имении жены, в селе Марьино, Бронницкого уезда, Московской губернии, в 50 верстах от Москвы.

Как ни требовала подвижная и общительная натура Пущина раз'ездов, как ни рвался он душою повидать всех своих знакомых „допотопного“ периода, нажитые в каторге и ссылке болезни держали его в Марьино, большей частью, в постели. Иногда выезжал он к жившим близ Москвы друзьям и товарищам по ссылке — Оболенскому, Нарышкину, Свистунову, да в Москву — к сыну, учившемуся в пансионе. Один раз, летом 1858 г., поехал он в Нижний — к дочери.

Проживая в деревне, Пущин трепетно откликался на все переживания родины, волновался ее горестями, страдал ее мучительным переходом от николаевского казарменного гнета к либеральному строю, предвещавшему раскрепощение крестьян и дальнейшее освобождение трудового народа. В письмах послесибирского периода к брату и друзьям много высказываний Пущина на общественно-политические темы.

Побуждаемый настояниями старых и новых друзей, среди которых были сыновья декабристов, Пущин в 1858 году написал свои записки о Пушкине, которые составляют один из самых ценных вкладов в литературу о великом поэте.

Вернув декабристов из Сибири, правительство не переставало, однако, бояться их, главным образом,

их влияния на тогдашнее общество. За всеми возвращенными заговорщиками был установлен тщательный надзор со стороны III отделения. Еще в 1857 году Пущин пытался получить разрешение на выезд за границу — для лечения, — и брат Михаил ждал его в Карлсбаде. Но разрешение не было дано, и Пущину, как некогда Пушкину, пришлось только вздыхать по Европе с ее конституционными гарантиями и уважениями к правам человеческой личности. До самой могилы преследовала его попечительная заботливость начальства, и каждый шаг Пущина отмечался донесением в Третье отделение, вплоть до последнего его шага — к месту вечного упокоения и от забот по Маремьянству, и от политических страстей, и от всех других тревожений многообразной и так любимой им жизни. Заключительным было донесение московского губернатора Третьему отделению от 10 апреля 1859 года: „Бронницкий исправник донес мне, что проживавший во вверенном ему уезде, находящийся под надзором полиции, возвращенный из Сибири дворянин Иван Иванов Пущин 3 числа сего апреля умер“. Похоронен Пущин в Бронницах, близ собора, рядом с могилой М. А. Фонвизина. На могиле И. И. — памятник с фигурой ангела и с надписью: „Блажени милостивии, яко тии помилованы будут“.

Умер Пущин 61 года от роду, сохранив до конца дней своих ясность ума и верность политическим убеждениям, возвышенные свойства нежной души и

чуткого, любящего сердца. В ряду других вождей тайного общества Пущин занимает особое место. Он не был таким крупным политическим деятелем, как Пестель, пылким и красноречивым республиканцем-заговорщиком, как Рылеев, фанатичным революционером-мстителем, как Каховский. Всю жизнь преданный конституционным идеям, он всю жизнь отличался душевной многогранностью, роднившей его с Пушкиным, и общественно-политическое служение не заслоняло от него всех влечений яркой и радужно-блестящей молодости. Сам Пущин считал основной чертой своего характера жизнерадостный и творческий оптимизм. Уже с поселения, из Туринска, писал он Энгельгардту: „Мною овладела какая-то мрачность, я ужасно не люблю этого состояния, тем более, что оно совершенно мне несвойственно и набрасывает неприятную тень на все окружающее. Надеюсь, что это временный туман, он должен рассеяться, иначе — тоска...“

Руководители тайного общества высоко ценили участие в их деятельности Пущина ввиду его кристальной честности и высокой моральной чистоты его. Они смотрели снисходительно на недостаточную революционность Пущина, на его тяготение к светской жизни и эпикурейские навыки. И. И. Горбачевский, один из руководителей Южного, самого революционного общества, оставил любопытную характеристику Пущина, как человека, не подходящего под обычное представление о заговорщике: „Прочти со вниманием об их воспитании в Лицее,— пишет он

М. А. Бестужеву по поводу записок Пушкина о Пушкине,— разве из такой почвы вырастают народные поэты, республиканцы, патриоты? Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели? Ты скажешь, а Пушкин Ив. Ив. разве худой человек? Я скорее скажу, чудо-человек, что хочешь, так он хорош. Но я тебя спрошу, республиканец ли он или нет? Заговорщик он или нет? Способен ли он кверху дном все переверотить: пет и нет, ему подавай революции, деланные чтобы на розовой воде: они все хотели все сделать переговорами, чтобы сенат к ним вышел и, поклонившись, спросил, что вам угодно? Все к вашим услугам“.

Недостаточная революционность И. И. Пушкина, как заговорщика, возмещалась в отношении к задачам тайного общества глубокою преданностью правильно понимаемому долгу политического деятеля, преданностью, переходившею в героизм и совмещавшеюся с постоянною жизнерадостностью. Декабрист Розен рассказывает, что 14 декабря 1825 года на Сенатской площади „всех бодрее в карре стоял И. И. Пушкин; хотя он, как отставной, был не в военной одежде, но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость“. Когда же Розен спросил, где можно найти диктатора Трубедкого, Пушкин сказал: „Пропал или спрятался; если можно, то достаешь его помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв“.

При объявлении 13 июля 1826 года приговора декабристам Пущин единственный выступил с протестом против расправы с ними их политических противников, а за несколько минут до того он своими шутками и остротами заставлял хохотать весь собравшийся около него кружок обреченных. О постоянной веселости Пущина в кругу декабристов говорит в своих показаниях и В. П. Зубков, московский приятель Пущина. Все привлеченные к делу 14 декабря говорят о доброте Пущина, о его постоянной готовности помогать нуждающимся, о стремлении улучшить положение крестьян. Товарищи любили Пущина в меру собственной его любви. Когда его однажды вели на допрос, сквозь конвой, с риском для собственной жизни, пробрался офицер С. П. Галахов и бросился обнимать и целовать Пущина.

И в Сибири он был такой же — полный жизни, отражающий ее во всех ее проявлениях, откликающийся на все ее требования, жадно впитывающий все ее впечатления. Радостно отмечает он в 1848 году в связи с тогдашними революционными событиями в Европе, что „необыкновенно любопытное настает время“. Хорошо знавший Пущина декабрист П. В. Басаргин говорит про него: „Пущин был общим нашим любимцем, и не только нас, своих друзей и приятелей, но и всех тех, кто знал его хоть сколько-нибудь. Его открытый характер, его готовность оказать услугу и быть полезным всякому, его прямота, честность, в высшей степени бескорыстие

высоко ставили его в нравственном отношении, а красивая наружность, особенный приятный способ объясняться, умение кстати безвредно пошутить и хорошее образование увлекательно действовали на всех“.

Представитель другого поколения, сын декабриста, Е. И. Якушкин, знавший Пушкина в Сибири в последние годы его жизни и слышавший рассказы о нем его товарищей по заговору и по ссылке, писал о Пушкине: „В какое бы положение его не ставили обстоятельства, с какими бы людьми его не сталкивала судьба, он был всегда верен самому себе и одинаков со всеми. Он поражал простотой своего обращения, своим симпатическим характером, искренностью и твердостью своих убеждений“.

Рылеев кратко выразил чувства всех, знавших Пушкина: „Кто любит Пушкина, тот непременно сам редкий человек“.

И. И. ПУЩИН

ЗАПИСКИ О ПУШКИНЕ



И. И. Пущин (справа) среди декабристов и Мугуторовские
(с картины С. М. Знаменского)

*Е. И. Якушкину*¹.

Как быть! Надобно принятъся за старину. От вас, любезный друг, молчком не отделаешься! И то уж совестно, что так долго откладывалось давнишнее обещание поговорить с вами на бумаге об Александре Пушкине, как, бывало, говаривали мы об нем при первых наших встречах в доме Бронникова². Прошу терпеливо и снисходительно слушать немудрый мой рассказ.

1. Евгений Иванович Якушкин (род. 22 янв. 1826 г., ум. 27 апр. 1905 г.) — сын известного декабриста И. Д. Якушкина, автора записок. В 1853-55 г. г. Е. И. по командировке ездил в Сибирь, был в Ялуторовске, где познакомился со многими декабристами, которые полюбили его за прекрасные душевные качества; особенно полюбил его И. И. Пущин, с которым у Якушкина установились тесные дружеские отношения до самой смерти И. И. По настоятельной просьбе Е. И. Якушкина написал Пущин свои Записки о Пушкине, и ему обязана русская литература этим ценным вкладом в Пушкиннанау. *СШ*.

² Дом Бронникова в Ялуторовске, где Пущин жил с июля 1843 до выезда в Россию в сентябре 1856 г. *СШ*.

Собираясь теперь проверить былое с некоторою отчетливостью, я чувствую, что очень поспешно и опрометчиво поступил, истребивши в Лицее тогдашний мой дневник, который продолжал слишком год. Там нашлось бы многое, теперь отуманенное; всплыли бы некоторые заветные мелочи,—печать того времени. Не знаю почему, тогда мне вдруг показалось, что нескромно вынимать из тайника сердца заревые его трепетания, волнения, заблуждения и верования. Теперь самому любопытно бы было взглянуть на себя тогдашнего, с тогдашнею обстановкою, но дело кончено: тетради в печке, и поправить беды невозможно.

Впрочем, вы не будете тут искать исторической точности; прошу смотреть без излишней взыскательности¹ на мои воспоминания о человеке мне близком с самого нашего детства: я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ.

Невольным образом в этом рассказе замешивается и собственная моя личность; прошу не обращать на нее внимания. Придется, может быть, и об Лицее² сказать словечко; вы это простите, как воспоминания, до сих пор живые! Одним словом, все сдаю вам, как вышло на бумагу.

¹ Биограф Пушкина, академик Л. Н. Майков, отмечает „обстоятельность и точность“ сведений, сообщаемых Пушкинным; то же подчеркивают другие исследователи. *СШ.*

² Воспоминания Пушкина — важнейший источник для истории пушкинского лицея за первый период его существования. *СШ.*

1811 года, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения, графу А. К. Разумовскому. Старик, слишком 80-летний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его же просьбе в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России — не все тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали с своими учениками. Это замечание мое до того справедливо, что потом даже, в 1817 году, когда после выпуска мы шестеро¹, назначенные в гвардию, были в лицейских мундирах на параде гвардейского корпуса, под'езжает к нам граф Милорадович, тогдашний корпусный командир, с вопросом: что мы за люди и какой это мундир? Услышав наш ответ, он несколько задумался и потом очень важно сказал окружавшим его: „Да, это не то что университет, не то что кадетский корпус, не гимназия, не семинария — это... лицей!“ — Поклонился, повернул лошадь и ускакал.— Надо сознаться, что определение очень забавно, хотя далеко не точно.

Дедушка наш Петр Иванович насилиу взошел на лестницу, в зале тотчас сел, а мы с Петром стали по

¹ В гвардию офицерами были выпущены из лицея в 1817 г.: Вл. Дм. Вольховский, Сем. Сем. Есаков, Ив. Ив. Пущин, Петр Фед. Саврасов, Ал-др Алексеевич Корпилов, Ал-др Павл. Бакунин, Ив. Вас. Малиновский. ОШ.

обе стороны возле него, глядя на нашу братью, уже частью тут собранную. Знакомых у нас никого не было. Старик, не видя появления министра, начинал сердиться. Подозвал дежурного чиновника и объявил ему, что андреевскому кавалеру не приходится ждать, что ему нужен Алексей Кириллович, а не туалет его.— Чиновник исчез, и тотчас старика нашего с нами повели во внутренние комнаты, где он нас поручил благосклонному вниманию министра, рассыпавшегося между тем в извинениях. Скоро наш адмирал отправился домой, а мы под покровом дяди Рябина, приехавшего сменить деда, остались в зале, которая почти наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

У меня разбежались глаза: кажется, я не был из застенчивого десятка, но тут как-то потерялся — глядел на всех и никого не видал. Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке и начал выкликать по фамилиям.— Я слышу: Александр Пушкин — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда. Еще вглядывался в Горчакова, который был тогда необыкновенно милосвиден. При этом передвижении мы все несколько приободрились, начали ходить в ожидании представления министру и начала экзамена. Не припомню кто, только чуть ли не В. Л. Пушкин, привезший Александра, подозвал меня и познакомил с племянником.

Я узнал от него, что он живет у дяди на Мойке, недалеко от нас. Мы положили часто видаться. Пушкин в свою очередь познакомил меня с Ломоносовым и Гурьевым.

Скоро начали вызывать нас по одиночке в другую комнату, где в присутствии министра начался экзамен, после которого все постепенно раз'езжалось. Все кончилось довольно поздно.

Через несколько дней Разумовский пишет дедушке, что оба его внука выдержали экзамен, но что из нас двоих один только может быть принят в Лицей на том основании, что правительство желает, чтоб большее число семейств могло воспользоваться новым заведением. На волю деда оставалось решить, который из его внуков должен поступить.— Дедушка выбрал меня, кажется, потому, что у батюшки моего, старшего его сына, семейство было гораздо многочисленнее. Таким образом я сделался товарищем Пушкина.— О его приеме я узнал при первой встрече у директора нашего В. Ф. Малиновского, куда нас неоднократно собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, ботфорт, сапог, шляп и пр. На этих свиданиях мы все больше или меньше ознакомились. Сын директора Иван тут уже был для нас чем-то вроде хозяина.

Между тем, когда я достоверно узнал, что и Пушкин вступает в Лицей, то на другой же день отправился к нему, как к ближайшему соседу. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба,

основания на чувства какой-то безотчетной симпатии.

Родные мои тогда жили на даче, а я только туда ездил; большую же часть времени проводил в городе, где у профессора Лоди занимался разными предметами, чтобы не даром пропадало время до вступления моего в Лицей. При всякой возможности я отыскивал Пушкица, иногда с ним гулял в Летнем саду; эти свидания вошли в обычай, так что если несколько дней меня не видать, Василий Львович, бывало, мне пеняет: он тоже привык ко мне, полюбил меня.

Часто, в его отсутствие, мы оставались с Анной Николаевной. Она подчас нас, птенцов, приголубливала; случалось, что и побранит, когда мы надоедали ей нашими ранневременными шутками. Именно замечательно, что она строго наблюдала, чтоб наши ласки не переходили границ, хотя и любила с нами побалагурить и пошалить, а про нас и говорить нечего: мы просто наслаждались непринужденностью и некоторою свободою в обращении с милою девушкой. С Пушкиным часто доходило до ссоры, иногда она требовала тут вмешательства и дяди. Из других товарищей видались мы иногда с Ломоносовым и Гурьевым. Madame Гурьева нас иногда и к себе приглашала.

Все мы видели, что Пушкиц нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил; но достоинство его состояло в том, что он

Отнюдь не думал выказываться и важничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас было 12 лет) с скороспелками, которые по каким-либо обстоятельствам и раньше, и легче находят случай чему-нибудь выучиться. Обстановка Пушкина в отцовском доме и у дяди, в кругу литераторов, помимо природных его дарований, ускорила его образование, но нисколько не сделала его заносчивым, признак доброй почвы. Все научное он считал ни во что и как будто желал только доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и пр. В этом даже участвовало его самолюбие,— бывали столкновения очень неловкие. Как после этого понять сочетание разных внутренних наших двигателей! Случалось точно удивляться переходам в нем: видишь, бывало, его поглощенным не по летам в думы и чтения, и тут же внезапно оставляет занятия, входит в какой-то припадок бешенства за то, что другой, ни на что лучшее не способный, перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Я был свидетелем такой сцены на Крестовском острове, куда возил нас иногда на ялике гулять Василий Львович.

Среди дела и безделья незаметным образом прошло время до октября. В Лицее все было готово, и нам велено было съезжаться в Царское Село. Как водится, я поплакал, расставаясь с домашними, сестры успокаивали меня тем, что будут навещать по праздникам, а на Рождество возьмут домой. Повез меня тот же дядя Рябинин, который приезжал за мной

к Разумовскому. В Царском мы вошли к директору: его дом был рядом с Лицеом. Василий Федорович поцеловал меня, поручил инспектору Пилецкому-Урбановичу отвести в Лицей. Он привел меня прямо в четвертый этаж и остановился перед комнатой, где над дверью была черная дощечка с надписью: № 13. Иван Пущин; я взглянул налево и увидел: № 14. Александр Пушкин. Очепь был рад такому соседу, но его еще не было, дверь была заперта. Меня тотчас ввели во владение моей комнаты, одели с ног до головы в казенное, тут приготовленное, и пустили в залу, где уже двигались многие повобранцы. Мелкого нашего пароду с каждым днем прибывало. Мы знакомились поближе друг с другом, знакомились и с роскошным нашим новосельем. Постоянных классов до официального открытия Лицея не было, но некоторые профессора приходили заниматься с нами, предварительно испытывая силы каждого,— и таким образом, знакомясь с нами, приучали нас, в свою очередь, к себе.

Все 30-ть воспитанников собрались. Приехал министр, все осмотрел, делал нам репетицию церемониала в полной форме, т. е. вводили нас известным порядком в залу, ставили куда следует, по списку вызывали и учили кланяться по направлению к месту, где будет сидеть император и высочайшая фамилия. При этом неизбежно были презабавные сцены неловкости и ребяческой наивности.

Настало наконец 19 октября, день, назначенный для открытия Лицея¹. Этот день, памятный нам, первокурсным, не раз был воспет Пушкиным в незабвенных его для нас стихах, знакомых больше или меньше и всей читающей публике.

Торжество началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Мы на хорах присутствовали при служении. После молебна духовенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило нас и все заведение.

В лицейской зале, между колоннами, поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, с золотой бахромой. На этом столе лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола стояли мы в три ряда; при нас — директор, инспектор и гувернеры; по левую — профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное пространство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами кресел для публики. Приглашены были все высшие сановники и педагоги из Петербурга. Когда все общество собралось, министр пригласил государя. Император Александр явился в со-

¹ Царскосельский лицей открыт 19 октября 1811 года во дворце, на половине великих князей Николая и Михаила Павловичей, которым Александр I хотел дать воспитание в кругу товарищей-сверстников из лучших дворянских фамилий. Первый параграф устава лицея наметал его целью „образование юношества, предназначенного к важным частям службы государственной“. В 1844 г. лицей был переведен в Петербург. СШ.

провождении обеих императриц, в. к. Константина Павловича и в. к. Анны Павловны. Приветствовав все собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Министр сел возле цари.

Среди общего молчания началось чтение. Первый вышел И. И. Мартынов, тогдашний директор департамента министерства народного просвещения. Дребезжащим, тонким голосом прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше дарованную ему грамоту. (Единственное из закрытых учебных заведений того времени, которого устав гласил: „Телесные наказания запрещаются“. Я не знаю, есть ли и теперь другое, на этом основании существующее. Слышал даже, что и в Лицее, при императоре Николае разрешено наказывать с родительскою нежностью лозою смирения).

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену наш директор В. Ф. Малиновский, со свертком в руке. Бледный, как смерть, начал что-то читать; читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что сидевшие в задних рядах начали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кончивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место. Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сидели, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать.

Смело, бодро выступил профессор политических наук А. П. Куницын и начал не читать, а говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо пугалась и вооружалась терпением: но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к говорившему: всрнный знак общего внимания и одобрения! В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это небывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тотчас прислал Куницыну Владимирский крест — награда, лестная для молодого человека, только что возвратившегося перед открытием Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и назначенного в Лицей на политическую кафедру. Куницын вполне оправдал внимание царя: он был один между нашими профессорами урод в этой семье.

Куницыну дань сердца и вина.
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена¹...

¹ Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года II. II.

После речей стали нас вызывать по списку; каждый, выходя перед стол, кланялся императору, который очень благосклонно вглядывался в нас и отвечал терпеливо на неловкие наши поклоны.

Когда кончилось представление виновников торжества, царь, как хозяин, отблагодарил всех, начиная с министра, и пригласил императрицу осмотреть новое его заведение. За царской фамилией двинулась и публика. Нас между тем повели в столовую к обеду, чего, признаюсь, мы давно ожидали. Осмотрев заведение, гости Лицея возвратились к нам в столовую и застали нас усердно трудящимися над супом с пирожками. Царь беседовал с министром. Императрица Мария Федоровна попробовала кушанье. Подошла к Корнилову, оперлась сзади на его плечи, чтобы он не приподнимался, и спросила его: „Карош суп?“ Он медвежонком отвечал: „Oui, monsieur“.

Сконфузился ли он и не знал, кто его спрашивал, или дурной русский выговор, которым сделал был ему вопрос, — только все это вместе почему-то побудило его откликнуться на французском языке и в мужеском роде. Императрица улыбнулась и пошла дальше, не делая уже больше любезных вопросов, а наш Корнилов тотчас же попал на зубок; долго преследовала его кличка: Monsieur. Императрица Елизавета Алексеевна тогда же нас, юных, пленила непринужденною своею приветливостью ко всем; она как-то умела и успела каждому из профессоров

сказать приятное слово. Тут, может быть, зародилась Пушкина мысль стихов к ней:

На лире скромной, благородной и пр. ¹

Константин Павлович у окна щекотал и щипал сестру свою Анну Павловну; потом подвел ее к Гурьеву, своему крестнику, и стиснувши ему двумя пальцами обе щеки, а третьим вздернувши нос, сказал ей: „Рекомендую тебе эту моську. Смотри, Костя, учись хорошенько!“

Пока мы обедали,—и дари удалились, и публика разошлась. У графа Разумовского был обед для сановников; а педагогию петербургскую и нашу лицейскую угощал директор в одной из классных зал. Все кончилось уже при лампах. Водворилась тишина.

Друзья мои, прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен,

Неколебим, свободен и беспечен

Сростался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастье куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир чужбина,

Отечество нам Царское Село ².

¹ Изд. Анненкова, т. VII, стр. 25. Г-н Анненков напрасно относит эти стихи к 1819 году; они написаны в Лицее 1816 г. И. П. В издании сочинений Пушкина 1930 г., под ред. М. А. Цявловского, это стихотворение отнесено к 1818 г. (см. т. I, стр. 189). СШ.

² Пушкин. Годовщина 19 октября 1825-го года. И. П. Ср. издание 1930 г., т. I, стр. 290. СШ.

Дельвиг, в прощальной песне 1817 года, за нас всех вспоминает этот день:

Тебе, паш царь, благодаренье!
Ты сам нас юных с'единял
И в сем святом уединеньи
На службу музам посвятил.

Вечером нас угощали десертом à discrétion вместо казенного ужина. Кругом Лицея поставлены были плошки, а на балконе горел щит с вензелем императора. Сбросив парадную одежду, мы играли перед Лицеем в снежки при свете иллюминации и тем заключили свой праздник, не подозревая тогда в себе будущих столпов отечества, как величал нас Куницын, обращаясь в речи к пам. Как нарочно для нас, тот год рано стала зима. Все посетители приезжали из Петербурга в санях. Между ними был Е. А. Энгельгардт, тогдашний директор Педагогического института. Он так был проникнут ощущениями этого дня и в особенности речью Куницына, что в тот же вечер, возвратясь домой, перевел ее на немецкий язык, написал маленькую статью и все отослал в Дерптский журнал. Этот почтенный человек не предвидел тогда, что ему придется быть директором Лицея в продолжении трех первых выпусков.

Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит

директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своею неожиданностью. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы. Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицей. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслью Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитать с нами своих братьев, великих князей Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сближение сыновей своих, особ царственных, с нами, плебеями.

Для Лицея отведен был огромный четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужнею.

В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее; во втором — столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией; в третьем — рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом через хоры придворной церкви. В верхнем — дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор, с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты: всего пятьдесят номеров. Из этого же коридора вход в квартиру губернатора Чирикова, над библиотекой.

В каждой комнате — железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночпой. На конторке чернильница и подсвечник со свечами.

Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.

Таково было новоселье наше!

При всех этих удобствах нам не трудно было привыкнуть к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале — мячик и беготня.

Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди. От 7 до 9 часов — класс; в 9 — чай; прогулка — до 10; от 10 до 12 — класс; от 12 до часу — прогулка; в час — обед; от 2-х до 3-х — или чистописание или рисование; от 3 до 5 — класс; в 5 часов — чай; до 6-ти прогулка; потом — повторение уроков или вспомогательный класс. По средам и субботам — танцеванье или фехтованье. Каждую субботу баня. В половине 9 часа — звонок к ужину. После ужина до 10 часов — рекреация. В 10 — вечерняя молитва, сон.

В коридоре на ночь ставили почники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням — синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего; но за то, по праздникам, мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми — во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстук, ботфорты, треугольная шляпа — в церковь и на гулянье. В этом наряде

оставались до обеда. Пепужная эта форма, отпечаток того времени, постепенно уничтожалась: брошены ботфорты, белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевалась нами только тогда, когда учились фронту в гвардейском образцовом батальоне.

Белье содержалось в порядке особою кастеляншею; в наше время была m-me Скалон. У каждого была своя печатная метка: номер и фамилия. Белье перемещалось на теле два раза, а столовое и на постели раз в неделю.

Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать прожки Золотареву в бакенбарды. При утреннем чае — крупчатая белая булка, за вечерним — полбулки. В столовой, по понедельникам, выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.

Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественным квасом и чистою водою.

При нас было несколько дядек: они заведывали чисткой платья, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, скатеринский сержант, польский шляхтич Леонтий Кермерский, сделавшийся нашим домашним restaurant.

У него явился уголок, где можно было пайти конфекты, вынить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру — разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом, вместо казенного чая ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей. Был и молодой Сазонов, необыкновенное явление физиологическое; Галль нашел бы несомненно подтверждение своей системы в его черепе:

Сазонов был моим слугою
И Пешель доктором моим¹.

Слишком долго рассказывать преступление этого парня; оно же и не идет к делу².

Жизнь паша лицейская сливается с политической эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов

¹ Стих Пушкина *И. П.*

² Лиценст 1-го выпуска М. А. Корф в своих воспоминаниях о лицее рассказывает об этом: „Один из наших дядек, следственно из участников в надзоре за нашею нравственностью, едва 20-летний Конст. Сазонов, в два года своей бытности в лицее совершил в Царском Селе и окрестностях шесть или семь убийств и был схвачен и заподозрен в прежних только при последнем“. *СШ.*

сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми: усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита.

Сыны Бородина, о, кульские герои!
Я видел, как на брапь летели ваши строн;
Душой торжественной за братьями летел...¹

Так вспоминал Пушкин это время в 1815 году, в стихах на возвращение императора из Парижа.

Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное.

Таким образом мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в этой семье — свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь: тут образовались связи на всю жизнь.

¹ Изд. Анненкова, т. II, стр. 77. И. П. В издании 1930 г. последний стих читается так: „Душой восторженной за братьями спешил“ (т. I, стр. 101). СШ.

Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей. Не то, чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных; но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускользают в школьных сношениях. Я, как сосед (с другой стороны его номера была глухая стена), часто, когда все уже засыпало, толковал с ним вполголоса через перегородку о каком-нибудь вздорном случае того дня; тут я видел ясно, что он по щекотливости всякому вздору приписывал какую-то важность, и это его волновало. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то, и другое не впопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся, сам вывернешься, а он никак не сумеет этого уладить. Главное, ему недоставало того, что называется тактом, это — капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно, при совершенно бесцеремонном обращении, уберечься от некоторых неприятных столкновений повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отозвались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась

в нем, не проявляясь впрочем свойственной ей иногда пошлостью. Чтоб полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. Вот почему, может быть, Пушкин говорил впоследствии:

Товарищ милый, друг прямой!
Трянем рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку.
Не в первый раз мы вместе пьем,
Не редко и бранимся.
Но чашу дружества нальем
И тотчас помиримся¹.

Потом опять, в 1817 году, в альбоме, перед самым выпуском, он же сказал мне:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Весельной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость при-
миренья,

¹ Пирующие студенты. Изд. Анненкова, т. II, стр. 19, 1814 г. И. П. Ср. изд. 1930 г., т. I, стр. 59. СШ.

Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг, она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами,
О милый, вечен он!¹

Лицейское наше шестилетие, в историко-хронологическом отношении, можно разграничить тремя эпохами, резко между собою отделяющимися: директорством Малиновского, междударствием (то-есть управление профессоров: их сменяли после каждого ненормального события) и директорством Энгельгардта.

Не пугайтесь! Я не поведу вас этою длинною дорогой, она вас утомит. Не станем делать изысканий; все подробности вседневной нашей жизни, близкой нам и памятной, должны остаться достоянием нашим: нас, ветеранов Лицея, уже немного осталось, но мы и теперь молодеем, когда собравшись заглядываем в эту даль. Довольно, если припомню кой-что, где мелькает Пушкин в разных проявлениях.

При самом начале — он наш поэт. Как теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончивши лекцию несколько раньше урочного часа, профессор сказал: „Теперь, господа, будем пробовать перья: опишите мне пожалуйста розу стихами“. Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин

¹ Изд. Анненков, т. II, стр. 170. И. П. См. изд. 1930 г., т. I, стр. 171. СШ.

мигом прочел два четырехстишия, которые всех нас восхитили. Жаль, что не могу припомнить этого первого поэтического его лешета. Кошарский взял рукопись к себе. Это было чуть ли не в 1811 году, и никак не позже первых месяцев 1812-го. Упоминаю об этом потому, что ни Бартепев, ни Анненков ничего об этом не упоминают.

Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лидейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпитаграммы и проч. Естественно, он был во главе литературного движения, сначала в стенах Лидея, потом и вне его, в некоторых современных московских изданиях. Все это обследовано почтенным издателем его сочинений П. В. Анненковым, который запечатлел свой труд необыкновенною изыскательностью, полным знанием дела и горячею любовью к Пушкину — поэту и человеку¹.

¹ Из уважения к истине должен кстати заметить, что г. Анненков приписывает Пушкину мою прозу (т. II, стр. 29, VI). Я говорю про статью „Об эпитагме и надписи у древних“. Статью эту я перевел из Ла-Гарпа и просил Пушкина перевести для меня стихи, которые в ней приведены. Все это, за подписью П., отправил я к Вл. Измайлову, тогдашнему издателю „Вестника Европы“. Потом к нему же послал другой перевод, из Лафатера: „О путешествиях.“ Тут уж я скрылся под буквами т—ъ. Обе эти статьи были напечатаны. Письма мои передавались на почту из нашего дома в Петербурге; я просил туда же адресовать ко мне в случае надобности. Измайлов до

Сегодня расскажу вам историю гогель-могеля, которая сохранилась в летописях Лицея. Шалость приняла серьезный характер и могла иметь пагубное влияние и на Пушкина, и на меня, как вы сами увидите.

Мы, то есть, я, Малиновский и Пушкин затеяли вышить гогель-могелю. Я достал бутылку рому, добыли яиц, натолкли сахару, и началась работа у кипящего самовара. Разумеется, кроме нас были и другие участники в этой вечерней пирушке, но они остались за кулисами по делу, а в сущности один из них, именно Тырков, в котором чересчур подействовал ром, был причиной, по которой дежурный гувернер заметил какое-то необыкновенное оживление, шумливость, беготню. Сказал инспектору. Тот, после ужина, всмотрелся в молодую свою команду и увидел что-то взвинченное. Тут же начались спросы, рюзыски. Мы трое явились и объявили, что это наше дело, и что мы одни виноваты¹.

того был в заблуждении, что благодаря меня за переводы, просил сообщить ему для его журнала известия о петербургском театре: он был уверен, что я живу в Петербурге и непременно театрал, между тем как я сидел еще на лицейской скамье. Тетради барона Модеста Корфа ввел Аппенкова в ошибку, для меня очень лестную, если бы меня тревожило авторское самолюбие. *И. П.*

¹ В лицейском журнале „Лицейский мудрец“ за 1815 год, в № 3-м, в отделе „Политика“, помещен рассказ об истории с гогель-могелем. К. Я. Грот полагает, что автор рассказа — И. И. Пущин („Пушкинский лицей“, 292). *СШ.*

Исправлявший тогда должность директора профессор Гауеншильд донес министру. Разумовский приехал из Петербурга, вызвал нас из класса и сделал нам формальный строгий выговор. Этим не кончилось,— дело поступило на решение конференции. Конференция постановила следующее: 1) две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, 2) сместить нас на последние места за столом, где мы сидели по поведению, и 3) занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора, в черную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске.

Первый пункт приговора был выполнен буквально. Второй смягчился по усмотрению начальства: нас, по истечении некоторого времени, постепенно подвигали опять вверх. При этом случае Пушкин сказал:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе¹.

На этом конце стола раздавалось кушанье дежурным гувернером. Третий пункт, самый важный, остался без всяких последствий. Когда при рассуждениях конференции о выпуске представлена была директору Энгельгардту черная эта книга, где мы только и были записаны, он ужаснулся и стал доказывать своим сочленам, что мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую тогда же было взыскано, могла бы еще иметь влияние и на будущность

¹ См. Сочинения изд. 1930, т. I, стр. 373. СШ.

после выпуска. Все тотчас же согласились с его мнением, и дело было сдано в архив.

Гогель-могель — ключ к посланию Пушкина ко мне:

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном уголке,
С Вахом пежились лениво
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали —

И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно,
Всюду по полу разлиты
Пуш и светлое вино.

Убегаем торопливо...
В миг исчез минутный страх:
Щек румяных цвет игривой,
Ум и сердце на устах.

Хохот чистого веселья,
Неподвижный тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Ваха заговор!

О, друзья мои сердечны,
Вам клянуса, за столом
Всякий год, в часы бесечны
Поминать его вином!¹

По случаю гогель-могеля Пушкин экспромтом сказал в подражание стихам И. И. Дмитриева:

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Кушидон,
По бокалу осушали
И прогнали мудрость вон, и проч.²
Мы недавно от печали,
Пушин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали,
И Фому прогнали вон.

Фома был дядька, который купил нам ром. Мы кой-как вознаградили его за потерю места. Предполагается, что песню поет Малиновский, его фамилию не вломаешь в стих. Барон — для рифмы, означает Дельвига.

Были и карикатуры, на которых из-под стола выглядывали фигуры тех, которых нам удалось скрыть.

Вообще это пустое событие (которым, разумеется, нельзя было похвастать) наделало тогда много шуму

¹ Изд. Ашпенкова, т. II, стр. 217. И. П. Ср. изд. 1930 г., т. I, стр. 120. СШ.

² Остальных строк не помню; этому слишком сорок лет. И. П. Пушин, по памяти неправильно приписывает эти стихи И. И. Дмитриеву; это начало анакреонтической оды Д. В. Давыдова „Мудрость“. Ср. собр. соч., т. I, стр. 373. СШ.

и огорчило наших родных, благодаря премудрому распоряжению начальства. Все могло окончиться домашним порядком, если бы Гауеншильд и инспектор Фролов не вздумали формальным образом донести министру.

Сидели мы с Пушкиным однажды вечером в библиотеке у открытого окна. Народ выходил из церкви от всенощной; в толпе я заметил старушку, которая о чем-то горячо с жестами рассуждала с молодой девушкою, очень хорошенькою. Среди болтовни я говорю Пушкину, что любопытно бы знать, о чем так горячатся они, о чем так спорят, идя от молитвы? Он почти не обратил внимания на мои слова, всмотрелся, однако, в указанную мною чету и на другой день встретил меня стихами:

От всенощной, вечер, идя домой,
Антишьева с Марфушкою бранилась;
Антишьева отменно горячилась.
„Постой, кричит,— управлюсь я с тобой!
Ты думаешь, что я забыла
Ту ночь, когда забравшись в уголок,
Ты с крестником Ванюшею шалила.
Постой — о всем узнает муженек!“—
„Тебе ль грозить,— Марфушка отвечает,—
Ванюшка что? Ведь он еще дитя; :
А сват Трофим, который у тебя
И день и ночь? Весь город это знает.
Молчи ж кума: и ты, как я, грешна,
Словами ж всякого, пожалуй, разобидишь.

В чужой соломипку ты видишь,
А у себя не видишь и бревна“¹.

„Вот что ты заставил меня написать, любезный друг“, сказал он, видя, что я несколько призадумался, выслушав его стихи, в которых поразило меня окончание. В эту минуту подошел к нам Кайданов,—мы собирались в его класс. Пушкин и ему прочел свой рассказ.

Кайданов взял его за ухо и тихонько сказал ему: „Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особенно кому-нибудь сообщать ее. И вы, Пушкин, не давайте волю язычку“, прибавил он, обратясь ко мне. Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрый Иван Кузьмич, а не другой кто-нибудь.

Впрочем, надобно сказать: все профессора смотрели с благоволением на растущий талант Пушкина. В математическом классе (вызвал его раз Карцов к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцов опросил его наконец: „Что же вышло? Чему равняется x^2 ?“ Пушкин, улыбаясь, ответил: нулю! „Хорошо! У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем“². Садитесь на свое место

¹ Ср. Сочинения Пушкина изд. 1930 г., т. I, стр. 376, где оно отнесено, в отделе сомнительных произведений по авторству или по тексту, к 1815 году. *СП.*

² По табели (об успехах, прилежании и дарованиях воспитанников) лицей за первое полугодие 1811—1812 гг.

и пишете стихи". Спасибо и Карцову, что он из математического фашизма не вел войны с его поэзией. Пушкин охотнее всех других классов занимался в классе Куницына, и то совершенно по-своему: уроков никогда не повторял, мало что записывал, а чтобы переписывать тетради профессоров (печатных руководств тогда еще не существовало), у него и в обычае не было: все делалось à livre ouvert.

На публичном нашем экзамене Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои „Воспоминания в Царском Селе“¹. В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным оживлением. Случая знакомые стихи, мороз по коже пробежал у меня. Когда же патриарх наших певцов в восторге, со слезами на глазах бросился целовать и осенил кудрявую его голову, мы все под каким-то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего

Пушкин оказал „посредственные успехи, лепив, не плохих дарований“. В ведомости за следующее полугодие, в графе о математике, про него же отмечено: „острота, но для пустословия, очень ленив и в классе нескромен, успехи посредственные“. В выпускном свидетельстве Пушкина после отзывов о занятиях его разными предметами преподавания сказано: „сверх того занимался математикою“. СШ.

¹ Изд. Анненкова, т. II, стр. 81. И. П. См. изд. 1930 г., т. I, стр. 49. СШ.

певца, его уже не было: он убежал!.. Все это уже рассказано в печати.

Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать,
И мне (в награду обещала
Спасибо в прозе написать, и проч. ¹

Стихи эти написаны сестре Дельвига, премилой, живой девочке, которой тогда было семь или восемь лет. Стихи сами по себе очень милы, но для нас имеют особый интерес. Корсаков положил их на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами почти во всех домах, где Лицей имел право гражданства.

„Красавице, которая шухала табак“ ² писано к Горчакова сестре, княгине Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и не знала и не читала этих стихов, плод разгоряченного молодого воображения.

к живописцу

Дитя харит, воображенья!
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши, и проч. ³

¹ Изд. Анненкова, т. II, стр. 213. *И. П.* См. изд. 1930 г., т. I, стр. 135. *СШ.*

² Изд. Анненкова, т. II, стр. 17. *И. П.* См. изд. 1930 г., т. I, стр. 53. *СШ.*

³ Изд. Анненкова, т. II, стр. 69. *И. П.* См. изд. 1930 г., т. I, стр. 116. *СШ.*

Пушкин просит живописца написать портрет К. П. Бакушиной, сестры нашего товарища. Эти стихи — выражение не одного только его страдавшего тогда сердечка!..

Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих „Пирующих студентов“. Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое, и проч.

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слышим:

Писатель! За твои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!¹

При этом возгласе дублика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого патиска. Добрая душа был этот

¹ Стихотворение 1814 г. См. изд. 1930 г., т. I, стр. 58. Ср. отзывы Пушкина о литературном даровании Кюхельбекера (см. выше, стр. 117). СШ.

Кюхель! Опомившись, просит он Пушкина еще раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:

Любезный именник, и проч.¹

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется во многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы все-таки умели их сгармонизировать и оставались в постоянном согласии. Кстати тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта.

У дворцовой гауптвахты, перед вечернею зарей, обыкновенно играла полковая музыка. Это привлекало гулявших в саду, разумеется и нас, l'inévitable Lусée², как называли иные нашу шумную, движущуюся толпу. Иногда мы проходили к музыке дворцовым коридором, в который между другими помещениями был выход и из комнат, занимаемых фрейлинами императрицы Елизаветы Алексеевны. Этих фрейлин было тогда три: Плюскова, Валуева и княжна Волконская. У Волконской была премиленькая гор-

¹ Ср. выше — стр. 20. СШ.

² П е р е в о д: немшусмый, неизбежный людей. СШ.

ничная Наташа. Случалось, встреться с ней в темных переходах коридора, и полюбезничать; она многих из нас знала, да и кто не знал Лицея, который мозолил глаза всем в саду? Однажды идем мы, растянувшись по этому коридору маленькими группами. Пушкин на беду был один, слышит в темноте шорох платья, воображает, что непременно Наташа, бросается поделовать ее самым невинным образом. Как нарочно, в эту минуту отворяется дверь из комнаты и освещает сцену: перед ним сама княжна Волконская. Что делать ему? Бежать без оглядки; но этого мало, надобно поправить дело, а дело не ладно! Он тотчас рассказал мне про это, присоединился к нам, стоявшим у окрестра. Я ему посоветовал открыться Энгельгардту и просить его защиты. Пушкин никак не соглашался довериться директору и хотел написать княжне извинительное письмо. Между тем она успела пожаловаться брату своему П. М. Волконскому, а Волконский — государю.

Государь на другой день приходит к Энгельгардту. „Что ж это будет?— говорит царь.— Твои воспитанники не только снимают через забор мои наливные яблоки, бьют сторожей садовника Лямина (точно, была такого рода экспедиция, где действовал на первом плане граф Сильвестр Броглио, теперь сенатор Наполеона III ¹), но теперь уж не дают проходу

¹ Это сведение о Броглио оказалось несправедливым; он был избран французскими филеленами в начальники и убит в Греции в 1829 году. И. П. По поводу этого при-

фрейлинам жены моей“. Энгельгардт, своим путем, знал о неловкой выходке Пушкина, может быть, и от самого Петра Михайловича, который мог сообщить ему это в тот же вечер. Он напелся и отвечал императору Александру: „Вы меня предупредили, государь, я искал случая принести вашему величеству повинную за Пушкина; он, бедный, в отчаянии; приходил за моим дозволением письменно просить княжну, чтоб она великодушно простила ему это неумышленное оскорбление“. Тут Энгельгардт рассказал подробности дела, стараясь всячески смягчить вину Пушкина, и присовокупил, что сделал ему уже строгий выговор и просит разрешения насчет письма. На это ходатайство Энгельгардта государь сказал: „Пусть нишет, уж так и быть, я беру на себя адвокатство за Пушкина; но скажи ему, чтоб это было в посредний раз“. „La vieille est peut-être enchantée de la méprise du jeune homme, entre nous soit dit“¹.—

мечания Пушкина Д. Ф. Кобенко в статье „Шесть упраздненных мест“ („Пушкин и его современники“, вып. V, 74—82), о шести лицеистах-первокурсниках, умерших до 1831 г.,— говорит: „Показание это, кажется, ошибочно. В войне за независимость Греции принял участие и был в 1827 г. убит граф Андрей-Максимилиан Броглио“. В протоколе участников лицейского обеда в 1851 г., по случаю 40-летия лицей, в перечне живых лицейстов, читаем: „Пушкина пет, Броглио — безвестно отсутствующий“. СШ.

¹ Перевод: „Между нами — старая дева, быть может в восторге от ошибки молодого человека“. В собрании сочинений Пушкина под ред. М. А. Цявловского (изд.

пешшул император, улыбаясь, Энгельгардту. Пожал ему руку и пошел догонять императрицу, которую из окна увидел в саду.

Таким образом, дело кончилось необыкновенно хорошо. Мы все были рады такой развязке, жалея Пушкина и очень хорошо понимая, что каждый из нас легко мог попасть в такую беду. Я с своей стороны старался доказать ему, что Энгельгардт тут действовал отлично: он никак не сознавал этого, все уверяя меня, что Энгельгардт, защищая его, сам себя защищал. Много мы спорили; для меня оставалось не разрешенною загадкой, почему все внимания директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хотел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой любил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец, я перестал и настаивать, представляя все времени. Оно одно может вразумить в таком непонятном упорстве.

Невозможно передать вам всех подробностей нашего шестилетнего существования в Царском Селе: это было бы слишком сложно и громоздко; тут

1930 г., т. I, стр. 377), в отделе сомнительных произведений, приведено под 1816 г. французское четверостишие — послание княжне В. М. Волконской, которое в переводе читается так: „Вас отлично можно принять за сводню либо за старую шкуру, но за грацию — ни боже мой“. СШ.

смесь и дельного, и пустого. Между тем вся эта пестрота имела для нас свое очарование. С назначением Энгельгардта в директоры школьный наш быт принял иной характер: он с любовью принялся за дело. При нем по вечерам устроились чтения в зале (Энгельгардт отлично читал). В доме его мы познакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога Лицея, находили приятное женское общество. Летом в вакантный месяц, директор делал с нами дальние, иногда двухдневные прогулки по окрестностям; зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город, завтракать или пить чай в праздничные дни; в саду, на пруде, катались с гор и на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод — оласная приманка, и что свобода, руководимая опытной дружбой, удерживает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах: этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий.

Пушкин клеймил своим стихом лицейских Сердечкиных, хотя и сам иногда попадал в эту категорию. Раз, на зимней нашей прогулке в саду, где расчищались

крутом пруда дорожки, он говорит Есакову, с которым я часто ходил в паре:

И останешься с вопросом
На берегу замерзлых вод:
„Мамзель Шредер с красным носом
Милых Вельо не ведет?“

Так точно, когда я перед самым выпуском лежал в больнице, он как-то успел написать мелом на дощечке у моей кровати:

Вот здесь лежит больной студент —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!¹

Я печально увидел эти стихи над моим изголовьем и узнал исковерканный его почерк. Пушкин не сознавался в этом экспромте.

Слишком за год до выпуска государь спросил Энгельгардта: есть ли между нами желающие в военную службу? Он отвечал, что чуть ли не более десяти человек этого желают (и Пушкин тогда колебался, но родные его были против, опасаясь за его здоровье). Государь на это сказал: „В таком случае надо бы познакомить их с фронтом“. Энгельгардт испугался и напрямик просил императора оставить Лицей, если

¹ Оба стихотворения включаются в собрания сочинений Пушкина, в отделе сомнительных произведений. Ср. изд. 1930 г., т. I, стр. 378 и 379. СШ.

в нем будет ружье. К этой просьбе присовокупил, что он никогда не носил никакого оружия, кроме того, которое у него всегда в кармане, и показал садовый ножик. Долго они торговались; наконец, государь кончил тем, что его не переспоришь. Велел спросить всех и для желающих быть военными учредить класс военных наук. Вследствие этого приказаия поступил к нам инженерный полковник Эльснер, бывший адъютант Костюшки, преподавателем артиллерии, фортификации и тактики.

Было еще и другого рода нападение на нас около того же времени. Как-то в разговоре с Энгельгардтом царь предложил ему посылать нас дежурить при императрице Елизавете Алексеевне во время летнего ее пребывания в Царском Селе, говоря, что это дежурство приучит молодых людей быть развязнее в обращении и вообще послужит им в пользу. Энгельгардт и это отразил, доказав, что, кроме многих неудобств, придворная служба будет отвлекать от учебных занятий и попрепятствует достижению цели учреждения Лицея. К этому он прибавил, что в продолжение многих лет никогда не видал камер-нажани на прогулках, ни при выездах царствующей императрицы. Между нами мнения насчет этого нововведения были разделены: иные, по суетности и лени, желали этой лакейской должности; но дело обошлось одними толками, и не знаю, почему из этих толков о сближении с двором выкроилась для нас верховая езда. Мы стали ходить два раза в неделю в гусарский

манеж, где, на лошадях запасного эскадрона, учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашева, который и прежде того, видя нас часто в галлерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот его куплет:

Bonjour, messieurs! Потите!
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
A quand l'equitation?

Вот вам выдержки из хроники нашей юности. Удовольствуйтесь ими! Может быть, когда-нибудь появится целый ряд воспоминаний о лицейском своеобразном быте первого курса, с очерками личностей, которые потом заняли свои места в общественной сфере; большая часть из них уже исчезла, но оставила отрадное پژмятование в сердцах не одних своих товарищей.

В мае начались выпускные публичные экзамены. Тут мы уже начали готовиться к выходу из Лицея. Разлука с товарищеской семьей была тяжела, хотя ею должна была начаться всегда желанная эпоха жизни, с заманчивою, незнакомою далью. Кто не спешил, в тогдашние наши годы, соскочить со школьной скамьи; но наша скамья была так заветно-приветлива, что невольно, даже при мысли о наступающей

свободе, оглядывались мы на нее. Время проходило в мечтах, прощаниях, и обетах, сердце дробилось!

Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породила нас!¹

Наполнились альбомы и стихами, и прозой. В моем остались стихи Пушкина. Они уже приведены вполне на 6-м листе этого рассказа.

Дельвига:

Прочтя сии набросанные строки
С небрежностью на памятном листке,
Как не узнать поэта по руке?
Как первые не вспомнить уроки
И не сказать при дружеском столе:
„Друзья, у нас есть друг и в Хороле!“

Дельвиг после выпуска поехал в Хороль, где квартировал отец его, командовавший бригадой во внутренней страже.

Илличевского стихов не могу припомнить: знаю только, что они все кончались рифмой на Пушкин. Это было очень оригинально.

К прискорбию моему, этот альбом, исписанный и изрисованный, утратился из допотопного моего портфеля, который дивным образом возвратился ко мне через тридцать два года со всеми положенными мною рукописями².

¹ „Прощальная песнь“ Дельвига. *И. П.*

² Это бумаги И. И. Пушкина, переданные им 15 дек. 1825 года П. А. Вяземскому на хранение. Среди них были

9-го июня был акт. Характер его был совершенно иной: как открытие Лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромн. В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра народного просвещения князя Голицына. Государь не взял даже с собою князя П. М. Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте.

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс; после него конференц-секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору, с объявлением чьих и наград.

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и изъяснением благодарности директору и всему штату Лицея.

Тут пропета была нашим хором лицейская прощальная песнь — слова Дельвига, музыка Тепфера, который сам дирижировал хором. Государь и его не забыл при общих наградах.

Он был тронут и поэзией, и музыкой, понял слезу на глазах воспитанников и наставников. Простился

стихотворения Пушкина, Дельвига, Рыльева и несколько записок Пушкина по общественным вопросам. Об этом см. выше, стр. 43. Бумаги Пушкина хранятся в архиве Якушкиных. СШ.

с нами с обычною приветливостью и пошел во внутренние комнаты, взяв князя Голицына под руку. Энгельгардт предупредил его, что везде беспорядок по случаю сборов к от'езду. „Это ничего“,— возразил он,— „я сегодня не в гостях у тебя. Как хозяин, хочу посмотреть на сборы наших молодых людей“. И точно, в дортуарах все было вверх дном, везде валялись вещи, чемоданы, ящики,—пахло от'ездом! При выходе из Лидея, государь признательно пожал руку Энгельгардту.

В тот же день, после обеда, начали раз'езжаться: прощаниям не было конца. Я, больной, дольше всех оставался в Лидее. С Пушкиным мы тут же обнялись на разлуку: он тотчас должен был ехать в деревню к родным; я уже не застал его, когда приехал в Петербург.

Слова встретился с ним осенью, уже в гвардейском конно-артиллерийском мундире. Мы шестеро учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне; после экзамена, сделанного нам Клейнмихелем в этой науке, произведены были в офицеры высочайшим приказом 29 октября. Между тем как товарищи наши, поступившие на гражданскую службу, в июне же получили назначение; в том числе Пушкин поступил в коллегия иностранных дел и тотчас взял отпуск для свидания с родными.

Встреча моя с Пушкиным на новом нашем поприще имела свою знаменательность. Пока он гулял и отды-

хал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество: обстоятельства так расположили мою судьбой! Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Калошин и Семенов. С Калошиним я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела. На этом основании он принял в общество меня и Вольховского, который, поступив в гвардейский генеральный штаб, сделался его товарищем по службе. Бурцов тотчас узнал его, понял и оценил.

Эта высокая цель жизни самой своей таинственностью и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла душу мою; я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах: стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях буйной молодости, наблюдал за собою, как за частицей, хотя ничего не значущей, но входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие. Первая моя мысль была открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем (*res publica*), по своему проповедывал в нашем смысле — и изустно, и пись-

менно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его, или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлек бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежащую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали меня. К тому же в 1818 году, когда часть гвардии была в Москве по случаю приезда Прусского короля, столько было опрометчивых действий одного члена общества, что признали необходимым делать выбор со всею строгостью, и даже, несколько лет спустя, объявлено было об уничтожении общества, чтобы тем удалить неудачно припятых членов. На этом основании я присоединил к союзу одного Рыльева, несмотря на то, что всегда был окружен многими, разделяющими со мной мой образ мыслей.

Естественно, что Пушкин, увидя меня после первой нашей разлуки, заметил во мне некоторую перемену и начал подозревать, что я от него что-то скрываю. Особенно во время его болезни и продолжительного выздоровления, видаясь чаще обыкновенного, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я, как умел, отделялся, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели: тогда везде

ходили по рукав, переписывались и читались наизусть его „Деревня“, „Ода на свободу“, „Ура! В Россию скачет...“ и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов. Нечего и говорить уже о разных его выходках, которые везде повторялись. Например, однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в темной алее, с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: „Нашелся один добрый человек, да и тот медведь!“ Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: „Теперь самое безопасное время — по Неве идет лед“. В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта — вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал.

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую-то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покровительственной улыб-

кой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: „Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.“. Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смотришь,— Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не существовало еще этого аристократического прозвища. Извините). Странное смешение в этом великольном создании! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Видно, впрочем, что не могло и не должно было бы быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам слепым глаза.

Но заключайте, пожалуйста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катонем; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым товарищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но при всей моей готовности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень.

Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: „здравствуй“, я его спра-

шиваю: „От нее ко мне, или от меня к ней?“ Уж и это надо вам об'яснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть-полька!

На прочее завеса¹.

Возвратясь однажды с ученья, я нахожу на письменном столе развернутый большой лист бумаги. На этом листе нарисована пером знакомая мне комната, трюмо, две кушетки. На одной из кушеток сидит развалившись претолстая женщина, почти портрет безобразной тетки нашей Анжелики. У ног ее — стрикс, маленькая несносная собачонка.

Подписано: „От нее ко мне, или от меня к ней?“

Не нужно было спрашивать, кто приходил. Кроме того я понял, что этот раз Пушкин и ее не застал.

Очень жаль, что этот смело набросанный очерк в разгроме 1825 года не уцелел, как некоторые другие мелочи. Он стоил того, чтоб его литографировать.

Самое сильное нападение Пушкина на меня по поводу общества было, когда он встретился со мною у П. И. Тургенева, где тогда собрались все желавшие участвовать в предполагаемом издании политического журнала. Тут, между прочими, были Куницын и наш лицейский товарищ Маслов. Мы сидели крутом большого стола. Маслов читал статью свою о статистике.

¹ Стих Пушкина. И. П.

В это время я слышу, что кто-то сзади берет меня за плечо. Оглядываюсь — Пушкин! „Ты что здесь делаешь? Наконец, поймал тебя на самом деле“, шепнул он мне на ухо и прошел дальше. Кончилось чтение. Мы встали. Подхожу к Пушкину, здороваюсь с ним; подали чай, мы закурили сигаретки и сели в уголок.

„Как же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем? Верно, это ваше общество в сборе? Я совершенно печально зашел сюда, гуляя в Летнем саду. Пожалуйста, не секретничай; право, любезный друг, это ни на что не похоже!“

Мне и на этот раз легко было без большого обмана доказать ему, что это совсем не собрание общества, им отыскиваемого, что он может спросить Маслова и что я сам тут совершенно неожиданно. „Ты знаешь, Пушкин, что я отнюдь не литератор, и, вероятно, удивляешься, что я попал некоторым образом в сотрудники журнала. Между тем это очень просто, как сейчас сам увидишь. На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Stael: „*Considérations sur la Révolution française*“ и советовал мне попробовать написать что-нибудь об ней и из нее. Тут же пригласил меня в этот день вечером быть у него,— вот я и здесь!“

Не знаю настоящим образом, до какой степени это об'яснение, совершенно справедливое, удовлет-

ворило Пушкина, только вслед за этим у нас переменялся разговор, и мы вошли в общий круг. Глядя на него, я долго думал: не должен ли я в самом деле предложить ему соединиться с нами? От него зависело принять или отвергнуть мое предложение. Между тем, тут же невольно являлся вопрос: почему же помимо меня никто из близко знакомых ему старших наших членов не думал об нем? Значит, их останавливало то же, что меня пугало: образ его мыслей всем хорошо был известен, но не было полного к нему доверия.

Преследуемый мыслью, что у меня есть тайна от Пушкина и что, может быть, этим самым я лишаю общество полезного деятеля, почти решался броситься к нему и все высказать, зажмури глаза на последствия. В постоянной этой борьбе с самим собою, как нарочно, вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

„Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?“

„Вы когда его видели?“

„Несколько дней тому назад у Тургенева“.

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

„Je n'ai rien de mieux à faire que de me mettre en quatre pour rétablir la réputation de mon cher fils¹. Видно, вы не знаете последнюю его проказу“.

¹ Перевод: Мне ничего лучшего не остается, как разорваться на части для восстановления репутации моего милого сына. СШ.

Тут рассказал мне что-то, право не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

„Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Александру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить“.

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь.

Я задумался и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина исчезла из моей головы. Я страдал за него, и подчас мне опять казалось, что, может быть, тайное общество сокровенным своим клеймом поможет ему повнимательней и построже взглянуть на самого себя, сделать некоторые изменения в испорченном своем быту. Я знал, что он иногда скорбел о своих промахах, обличал их в близких наших откровенных беседах, но видно, не пришла еще пора кипучей его природе угомониться. Как ни вертел я все это в уме и сердце, кончил тем, что создал себя не в праве действовать по личному шаткому воззрению, без полного убеждения, в деле, ответственном перед целию самого союза.

После этого мы как-то не часто виделись. Круг знакомства нашего был совершенно розный. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Все это однако не мешало нам, при всякой возможности, встречаться с прежнею дружбой и радоваться нашим встре-

чам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге; большею частью свидания мои с Пушкиным были у домоседа Дельвига.

В январе 1820 года я должен был ехать в Бессарабию к больной тогда замужней сестре моей. Прожив в Кишиневе и Аккермане почти четыре месяца, в мае возвращался с нею, уже здоровою, в Петербург. Белорусский тракт ужасно скучен. Не встречая никого на станциях, я обыкновенно заглядывал в книгу для записывания подорожных и там искал проезжих. Вижу раз, что накануне проехал Пушкин в Екатеринослав. Спрашиваю смотрителя: „Какой это Пушкин?“ Мне и в мысль не приходило, что это может быть Александр. Смотритель говорит, что это поэт Александр Сергеевич едет, кажется, на службу, на перекладной, в красной русской рубашке, в пояске, в поярковой шляпе. (Время было ужасно жаркое). Я тут ровно ничего не понимал; живя в Бессарабии, никаких известий о наших лицейских не имел. Это меня озадачило. В Могилеве, на станции, встречаю фельд'егеря, разумеется, тотчас спрашиваю его: не знает ли он чего-нибудь о Пушкине. Он ничего не мог сообщить мне об нем, а рассказал только, что за несколько дней до его выезда сгорел в Царском Селе Лицей, остались одни стены, и воспитанников поместили во флигеле. Все это вместе заставило меня нетерпеливо желать скорей добраться до столицы. Там, после служебных формальностей, я пустился разузнавать об Александре. Узнаю, что в одно пре-

красное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, тогдашнему петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: „Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу“ (Пушкин понял в чем дело). Милорадович, тронутый этою свободною откровенностью, торжественно воскликнул: „Ah c'est chevaleresque!“¹ и пожал ему руку.

Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного ад'ютанта отнести их графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейшего приказания.

Вот все, что я дознал в Петербурге. Еду потом в Царское Село к Энгельгардту, обращаюсь к нему с тем же тревожным вопросом.

Директор рассказал мне, что государь (это было после того, как Пушкина уже призывали к Милорадовичу, чего Энгельгардт до свидания с царем не знал) встретил его в саду и пригласил с ним пройтись.

„Энгельгардт,— сказал ему государь,— Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает. Мне правится откровенный его поступок с Милорадовичем; но это не исправляет дела“.

¹ П е р е в о д: Ах, это по-рыцарски! СШ.

Директор на это ответил: „Воля вашего величества, но вы мне простите, если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника; в нем развивается необыкновенный талант, который требует пощады. Пушкин теперь уже — краса современной нашей литературы, а впереди еще большие на него надежды. Ссылка может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека. Я думаю, что великодушные ваше, государь, лучше вразумит его“.

Но знаю, вследствие ли этого разговора, только Пушкин не был сослан, а командирован от коллегии иностранных дел, где состоял на службе, к генералу Инзову, начальнику колоний южного края. Проезжай Пушкин сутками позже, до поворота на Екатеринослав, я встретил бы его дорогой, и как отрадно было бы обнять его в такую минуту! Видно, нам суждено было только один раз еще повидаться, и то не прежде 1825 года.

В промежуток этих пяти лет генерала Инзова назначили наместником Бессарабии; с ним Пушкин переехал из Екатеринослава в Кишинев, впоследствии отсюда поступил в Одессу к графу Воронцову по особым поручениям. Я между тем, по некоторым обстоятельствам, сбросил конно-артиллерийский мундир и преобразился в судьи уголовного департамента московского надворного суда. Переход резкий, имевший впрочем тогда свое значение.

Князь Юсупов (во главе тех, про которых Грибоедов в „Горе от ума“ сказал: „Что за тузы в Москве

живут и умирают!“), видя на бале у Московского военного генерал-губернатора князя Голицына неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью (он знал, хоть по фамилии, всю московскую публику), спрашивает Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я надворный судья.

„Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное“.

Юсупов — не пророк, а угадчик, и точно, на другой год ни я, ни многие другие уже не танцовали в Москве.

В 1824 году в Москве тотчас же узналось, что Пушкин из Одессы сослан на жительство в псковскую деревню отца своего, под надзор местной власти; надзор этот был поручен Пещурову, тогдашнему предводителю дворянства Опочковского уезда. Все мы, огорченные несомненным этим известием, терялись в предположениях. Не зная ничего положительного, приписывали эту ссылку бывшим тогда неудовольствиям между ним и графом Воронцовым. Были разпообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это несколько не утешало нас. Потом вскоре стали говорить, что Пушкин вдовонок отдан под наблюдение архимандрита Святогорского монастыря, в четырех верстах от Михайловского. Это дополнительное сведение делало нам задачу еще сложнее, несколько не разрешая ее.

С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на рождество в Петербург для свидания с родными, я предположил с'ездить и в Псков к сестре Шабоковой; муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать в Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии.

Перед от'ездом, на вечере у того же князя Голицына, встретился я с А. И. Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю: не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него. „Как! Вы хотите к нему ехать? Разве не знаете, что он под двойным надзором — и полицейским, и духовным?“ „Все это знаю; но знаю также, что нельзя не навестить друга после пятилетней разлуки в теперешнем его положении, особенно когда буду от него с небольшим в ста верстах. Если не пустят к нему, уеду назад“. „Не советовал бы, впрочем, делайте, как знаете“, прибавил Тургенев.

Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили, и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я и от В. Л. Пушкина, к которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его.

Как сказано, так и сделано.

Проведя праздник у отца в Петербурге, после Крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились набок, что ящик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кой-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо, править не нужно.

Скачем опять в гору извиристою тропой; вдруг крутой поворот, как-будто неожиданно вломилась смаху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу не расчищенного двора...

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не пужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на

друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке.

Было около восьми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совестно стало перед этою женщиной, впрочем она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, сколько раз им воспетая, — чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и проч., и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда с самого Лицея писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

После первых наших обниманий пришел и Але-

ксей, который в свою очередь кинулся целовать Пушкина; он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кой-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов: что? как? где? и проч. Вопросы большею частью не ожидали ответов. Наконец, помаленьку прибрались; подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать.

Вообще Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя однакож ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в Северных Цветах и теперь при издании его сочинений П. В. Анненковым.

Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню; он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности;

думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частые его разговоры о религии (I)¹. Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил; я это заключил по лаконическим отрывистым его ответам на некоторые мои спросы, и потому я его просил оставить эту статью, тем более, что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклоняли нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся. Среди разговора *ex abrupto* он спросил меня: что об нем говорят в Петербурге и Москве? При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России, и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти четыре

¹ См. примечания Пущина (стр. 211). СШ.

месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже вести меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф.

Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных Лицея; потребовал объяснения, каким образом из артиллериста я преобразился в судьи. Это было ему по сердцу, он гордился мною и за меня! Вот его строфы из „Годовщины 19 октября“ 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое суждение:

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада,

. Поэта дом опальный,
О Пушкин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.
Ты, осятив тобой избранный сан,

Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан¹.

Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: „Верно, все это в связи с майором Раевским², которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать“. Потом, успокоившись, продолжал: „Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пушкин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою — по многим моим глупостям“. Молча, я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть. Вошли в нянину компату, где собрались уже шведы. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая однако Пушкину моих заключений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством, порожденным исключительным положением: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем он тотчас прозрел шаловливую мою мысль, улыбнулся

¹ См. собр. соч. 1930 г., т. I (стр. 289); последние три стиха — из первоначального наброска (стр. 391). СШ.

² Речь идет о кишиневском приятеле Пушкина, помощнике М. Ф. Орлова по революционно-пропагандистской деятельности в южной армии, майоре Вл. Федос. Раевском. О нем — исследование П. Е. Щеголева „Первый декабрист“ („Декабристы“, Л. 1926). СШ.

значительно. Мне ничего больше не пужно было; я, в свою очередь, моргнул ему, и все было понято без всяких слов.

Среди молодой своей команды няня преважно разгуливала с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились восвояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались тосты за Русь, за Лидей, за отсутствовавших друзей и за нее¹. Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным пяню, а всех других хозяйскою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее, праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок „Горе от ума“; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему почти вовсе незнакомою. После

¹ П. Е. Щеголев в своей книге „Пушкин и мужики“ (М. 1929) утверждает, что тост был провозглашен за героиню романа Пушкина с крепостной девушкой его матери, Ольгой Мих. Калашниковой, которая через несколько месяцев родила от поэта. В. В. Вересаев в своем споре с П. Е. Щеголевым („В двух планах — статьи о Пушкине“, М. 1929) по этому вопросу высказывает предположение, что тост был за свободу (в соответствии со стихом из послания к В. Л. Давыдову — „За здоровье т о й“ — собр. соч. 1930 г., т. I, стр. 329), но допускает также, что тост был за женщину, причем относит этот тост к Е. К. Воронцовой с меньшим основанием, чем П. Е. Щеголев — к О. М. Калашниковой. Я считаю, что предположение В. В. Вересаева о свободе больше вытекает из контекста фразы Пушкина о тосте. СШ.

обеда, за чашкой кофею, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые впрочем потом частью явились в печати.

Среди этого чтения кто-то под'ехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно, как будто смутился и торопливо раскрыл лежавшую на столе Четью-Минею. Заметив его смущение и не подозревая причины, я спросил его: что это значит? Не успел он отвечать, как вошел в комнату низенький рыжеватый монах и рекомендовался мне настоятелем соседнего монастыря.

Я подошел под благословение. Пушкин — тоже, прося его сесть. Монах начал извинением в том, что, может быть, помешал нам, потом сказал, что, узнавши мою фамилию, ожидал найти знакомого ему П. С. Пушина, уроженца великолукского, которого очень давно не видал. Ясно было, что настоятелю донесли о моем приезде и что монах хитрит. Хотя посещение его было вовсе не к стати, но я все-таки хотел *faire bonne mine à mauvais jeu* и старался уверить его в противном: об'яснил ему, что я — Пущин такой-то, лицейский товарищ хозяина, а что генерал Пущин, его знакомый, командует бригадой в Кишиневе, где я в 1820 году с ним встречался. Разговор завязался о том, о сем. Между тем подали чай. Пушкин спросил рому, до которого, видно, монах был охотник. Он выпил два стакана чаю, не забывая о роме, и после этого начал прощаться, извиняясь снова, что прервал нашу товарищескую беседу.

Я рад был, что мы избавились этого гостя, но мне неловко было за Пушкина: он, как школьник, притворился при появлении настоятеля. Я ему высказал мою досаду, что накликал это посещение. „Перестань, любезный друг! Ведь он и без того бывает у меня, я поручаю его наблюдению. Что говорить об этом вздоре!“ Тут Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, довольный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение.

Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его лиес; продиктовал начало из поэмы „Цыганы“ для Полярной Звезды и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические „Думы“¹.

¹ Д. Д. Благой в статье „Полтава“ в творчестве Пушкина“ („Московский Пушкинист“, вып. 2-й, М. 1930) убедительно доказывает несоответствие этого заявления Пушкина действительному отношению Пушкина к „Думам“ Рылеева. Д. Д. Благой объясняет это несоответствие тем, что Пушкин приписал поэту свое положительное отношение к революционно-патриотическим „Думам“, вполне естественное для декабриста, но чуждое Пушкину, который в разное время именно по поводу „Дум“ писал и говорил П. А. Вяземскому, что „кто пишет стихи, тот прежде всего должен быть поэтом, если же хочешь просто гражданствовать, то пиши прозой“, „Думы“ Рылеева и делают, а все невпопад, „Думы“ — дрянь“. СШ.

Время не стояло. К несчастью, вдруг запахло угаром. У меня собачье чутье, и голова моя не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, неожиданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах затопить печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы,—хоть беги из дому! Я тотчас распорядился за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в натопленные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл. Все это неприятно на меня подействовало, не только в физическом, но и в нравственном отношении. „Как,—подумал я,—хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастье!“ В зале был бильярд; это могло бы послужить для него развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велит отапливать всего дома. Видно, однако, мое ворчанье имело некоторое действие, потому что после моего посещения перестали экономить дровами. Г-н Анненков в биографии Пушкина говорит, что он иногда один играл в два шара на бильярде. Ведь не летом же он этим забавлялся, находя приволье на божьем воздухе, среди полей и лесов, которые любил с детства. Я не мог познакомиться с местностью Михайловского, так живо им воспетой: она тогда была закутана снегом.

Между тем время шло за полночь. Нам подали

закусить: на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись в надежде, быть может, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставанье после так отраднo промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльда, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилося: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем, и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него; он оставился на крыльде, со свечой в руке. Кони рванули под гору. Послышалось: „Прощай, друг!“ Ворота скрипнули за мною...

Сцена переменилась. Я осужден: 1828 года, 5 января, привезли меня из Шлиссельбурга в Читу, где я соединился наконец с товарищами моего изгнания и заточения, прежде меня прибывшими в тамошний острог. Что делалось с Пушкиным в эти годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю; знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири душевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдает листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует тоже утешенье,
Да озарит оп заточенье
Лучем лицейских ясных дней!

Псков, 13 декабря 1826.

Отраднo отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный, глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании. Увы, я не мог даже пожать руку той женщины, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга; но она поняла мое чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах; а Пушкину, верно, тогда не раз икнулось. Наскоро, через частокол, Александра Григорьевна проговорила мне, что получила этот листок от одного своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга, хранила его до свидания со мною, и рада, что могла, наконец исполнить порученное поэтом. По приезде моем в Тобольск в 1839-м году я послал эти стихи к Плетневу; таким образом были они напечатаны; а в 1842-м брат мой Михаил отыскал в Пскове самый подлинник Пушкина, который теперь хранится у меня в числе заветных моих сокровищ ¹.

¹ Ср. Сочинения Пушкина, изд. 1930 г., т. II, под редакцией М. А. Цявловского, стр. 30. СШ.

В своеобразной нашей тюрьме я следил с любовью за постепенным литературным развитием Пушкина; мы наслаждались всеми его произведениями, являвшимися в свет, получая почти все повременные журналы. В письмах родных и Энгельгардта, умевшего найти меня и за Байкалом, я не раз имел о нем некоторые сведения. Бывший наш директор прислал мне его стихи „19 октября 1827 года“:

Бог помощь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помощь вам, друзья мои,
И в счастье, и в житейском горе,
В стране чужой, в пустынном море
И в темных пропастях земли!

И в эту годовщину, в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке¹.

Впоследствии узнал я об его женитьбе и камерюнкерстве; и то, и другое как-то худо укладывалось во мне: я не умел представить себе Пушкина семьянином и царедворцем; жена-красавица и придворная служба пугали меня за него. Все это вместе, по моим понятиям об нем, не обещало упрочить его счастья.

¹ Ср. Сочинения, изд. 1930, т. II, стр. 36. СШ.

Проходили годы; ничем отрадным не навевало в нашу даль — там, на нашем Западе все шло тем же тяжелым ходом. Мы, грешные люди, стояли как поверстные столбы на большой дороге: иные путники, может быть, иногда и взглядывали, но продолжали путь тем же шагом и в том же направлении...

Между тем у нас, с течением времени, силою самых обстоятельств, устроились более смелые контрабандные сношения с Европейской Россией — кой-когда доходили до нас не одни газетные известия. Таким образом в январе 1837 года, возвратившийся из отпуска наш плацад'ютант Розенберг¹ зашел в мой 14-ый номер. Я искренно обрадовался и забросал его расспросами о родных и близких, которых ему случилось видеть в Петербурге. Отдав мне отчет на мои вопросы, он с какою-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он поживает? и проч. — Розенберг выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэле Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Копошенной церкви накануне моего выезда из Петербурга.

¹ Розенберг не мог вернуться из Петербурга после смерти Пушкина в Петровский завод в январе 1837 года, так как Пушкин умер лишь в конце месяца. Верно, это описка. СШ.

Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно не понимал слов рассказчика, так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых его надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, и вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. — Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере; но в итоге выходило одно, что его не стало и что не воротить его! — Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть пред его определением. Не стану беседовать с вами об этом народном горе, тогда несказанно меня поразившем: оно слишком тесно связано с жгучими оскорблениями, которые невыразимо должны были отравлять последние месяцы жизни Пушкина. Другим, лучше меня, далекого, известны гнусные обстоятельства, породившие дуэль; с своей стороны скажу только, что я не мог без особенного отвращения об них слышать, меня возмущали лица, действовавшие и подозреваемые в участии по этому гадкому делу, подсекшему существование величайшего из поэтов (II)¹.

¹ См. в конце текста „Записок“ (стр. 213) примечания Пушкина к этому месту его рассказа. Одним из самых гнусных обстоятельств, породивших роковую дуэль Пушкина, является участие самого императора Николая I в травле поэта. Об этом — в известном исследовании П. Е. Щеголева „Дуэль и смерть Пушкина“, изд. 1928 г., осо-

Размышляя тогда, и теперь очень часто, о ранней смерти друга, не раз я задавал себе вопрос: „Что было бы с Пушкиным, если бы я привлек его в наш союз и если бы пришлось ему испытать жизнь совершенно иную от той, которая пала на его долю?“

Вопрос дерзкий, но мне может быть простительный! — Вы видели внутреннюю мою борьбу всякий раз, когда, сознавая его податливую готовность, приходила мне мысль принять его в члены тайного нашего общества; видели, что почти уже на волоске висела его участь в то время, когда я случайно встретился с его отцом. Эта и пустая и совершенно ничего незначащая встреча между тем высказалась во мне каким-то знаменательным указанием... Только после смерти его, все эти повидимому ничтожные обстоятельства приняли в глазах моих вид явного действия промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России.

Положительно, сибирская жизнь, та, на которую, впоследствии, мы были обречены в течение тридцати лет, если б и не вовсе иссушила его могучий талант, то далеко не дала бы ему возможности достичь того развития, которое, к несчастью и в другой сфере жизни, несвоевременно было прервано. — Характеристическая черта гения Пушкина — разнообразие. Не было почти явления в природе, события

бенно стр. 467 и др. Ср. с сообщением Е. Е. Якушкина „Часы Николая I“ в сб. „Московский Пушкинист“, вып. II, М. 1930. СШ.

в общественной жизни, которые бы прошли мимо его, не вызвав дивных и неподражаемых звуков его лиры; и поэтому простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями. В нашем же тесном и душном заточении, природу можно было видеть только через железные решетки, а о жизни людей разве только слышать.— Пушкин при всей своей восприимчивости, никак не нашел бы там материалов, которыми он пользовался на поприще общественной жизни.— Может быть, и самый резкий перелом в существовании, который далеко не все могут выдержать, пагубно отозвался бы на его своеобразном, чтобы не сказать капризном, существе.

Одним словом, в грустные минуты, я утепала себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях...

Еще пара слов:

Манифестом 26 августа 1856 года я возвращен из Сибири. В Нижнем-Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук. Даль хочет принести его в дар Академии или Публичной Библиотеке.

В Петербурге навещал меня, больного, Константин Данзас. Много говорил я о Пушкине с его секун-

дантом. Он между прочим рассказал мне, что раз как-то, во время последней его болезни, приехала И. К. Глинка, сестра Кюхельбекера; но тогда ставили ему пиявки. Пупкин, прося поблагодарить ее за участие, извинялся, что не может принять. Вскоре потом, со вздохом проговорил: „Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушкина, ни Малиновского!“

Вот последний вздох Пушкина обо мне. Этот предсмертный голос друга дошел до меня слишком через 20 лет!..

Им кончаю и рассказ мой.

И. П.

Село Марьино, Август 1858.

Примечания

I. Случайно довелось мне недавно видеть копию с переписки гр. Нессельроде с гр. Воронцовым, вследствие которой Пушкин был сослан из Одессы на жительство в деревню отца. Поводом к этой переписке, без сомнения, было перехваченное на почте письмо Пушкина, но кому именно писанное — мне не известно; хотя об этом письме Нессельроде и не упоминает, а просто пишет, что по дошедшим до императора сведениям о поведении и образе жизни Пушкина в Одессе, его вел. находит, что пребывание в этом шумном городе для молодого человека во многих отношениях вредно, и потому поручает спросить его мнение на этот счет. Воронцов ответил, что со-

вершено согласен с высочайшим определением и вполне убежден, что Пушкину нужно больше уединения для собственной его пользы.

Вот копия с отрывка ¹ из письма Пушкина, которое в полном составе его мне неизвестно:

„Читал Шекспира и библию, святой дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира. Ты хочешь узнать, что я делаю? — пишу пестрые строфы романтической поэмы и беру уроки чистого атеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный атей, которого я еще встретил. Он исписал листов тысячу, чтобы доказать: *qu'il ne peut exister d'être intelligent créateur et régulateur*, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души.— Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная“.

Из дела видно, что Пушкина, по назначенному маршруту, через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск отправили из Одессы 30 июля 1824 года, дав подписку нигде не останавливаться

¹ В таком же виде письмо это приводится в новом издании писем Пушкина под редакцией Б. Л. Модзалевского (Госиздат, т. I, 1926, № 77), с пометкой в скобках: „Первая половина марта 1824 г., Одесса“, но с орфографическими поправками. Там же, в примечаниях, история письма и вызвавшей им высылки Пушкина из Одессы. Перевод франц. фразы в письме: „что не может существовать существо разумное, создатель и правитель“. С. Ш.

на пути по своему произволу и, по прибытии в Псков, явиться к гр. губернатору. 9-го августа того же года Пушкин прибыл в имение отца своего с. с. Сергея Львовича Пушкина, состоящее в Опочковском уезде.

II. Прилагаю переписку, которая свидетельствует о всей черноте этого дела ¹.

¹ Дальше в записках приводится несколько документов, относящихся к дуэли Пушкина с Дантесом: два анонимных пасквилья, полученных Пушкиным, письмо его к графу А. Х. Бенкендорфу (от 21/XI 1836 г.; в переписке Пушкина изд. 1911 г., под редакцией В. И. Саитова, т. III, № 1106), письмо к барону Геккерену (от того же числа; у В. И. Саитова, № 1105), письмо Геккерена к Пушкину (у В. И. Саитова, № 1139), записки виконта Д'Аршиака к Пушкину и к князю Виземскому, письмо Пушкина к Д'Аршиаку (у В. И. Саитова, № 1146), письмо К. К. Данзаса к Виземскому. Не находясь в прямой связи с записками Пушкина о Пушкине, не добавляя к ним ничего нового и не разъясняя, сами по себе, роковой дуэли Пушкина, — документы эти только обременили бы книгу. История дуэли и смерти Пушкина посвящено исследование П. Е. Щеголева „Дуэль и смерть Пушкина“, Лен. 1928 г.; в этом исследовании — все документы о смерти Пушкина, в том числе и приведенные Пушкиным. СШ.

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ПРИМЕЧАНИЯ

Записки Пущина о Пушкине печатались в извлечениях в „Атенее“ 1859 г., т. VIII, ч. 2-я, март и апрель, стр. 500—537; в „Полярной Звезде“, 1861 г., т. VI, стр. 105—118; в „Московск. Ведомост.“, 1859 г., № 107; в книге Л. Н. Майкова „Пушкин“, СПб., 1899 г., стр. 43—91 (в исправленном виде, но без заключительных страниц), в „Русских Ведомостях“, 1899 г., № 143, 26 мая (опущенное у Майкова); в статье К. Я. Грота о Пущине в „Историч. Вестн.“, 1905 г., № 8, стр. 440—442 (то же); в отдельн. изд.: „И. И. Пущин. Записки о Пушкине“, СПб., 1907, стр. 96 (полностью), и в предшествующих изданиях моей работы: „Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. Ред. и биограф. очерк С. Я. Штрайха“. М., 1925 г. „И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма. Ред. и биогр. очерк С. Я. Штрайха“, М.-Л. 1927 г. (полностью, как и в настоящем издании). Опубликованные А. И. Герденем и приписанные им Пущину много раз перепечатывавшиеся записки о 14-м декабря 1825 г. написаны И. Д. Якушкиным со слов И. И. Пущина, Е. П. Оболенского и других участников восстания.

Литература о Пущине указана в двух названных выше моих работах о нем. Кроме этих книг необходимо иметь в виду еще следующие издания: 1. „Восстание декабристов“, т. II, М., 1927. 2. „Памяти декабри-

стов“, сборник Всесоюзной академии наук, выпуск третий, Лен. 1926 (Б. Л. Модзалевский. И. И. Пущин — Новые письма и другие материалы). 3. „Юбилейный сборник в честь академика Д. И. Багаля, Киев, 1927 (Б. Л. Модзалевский. Из переписки декабристов. Письма И. И. Пущина к Ф. Ф. Матюшкину), а также книги, названные в различных выносках к тексту настоящего издания.

К портретам. 1. И. И. Пущин в 1825 г. — выделен из группы Д. М. Соболевского, литографированной тогда же. 2. И. И. Пущин в Ялutorовске в 1855 году. Воспроизведен с картины масляными красками из собрания семьи Якушкиных. На обороте картины, на бумаге, которою оклеена рамка, надпись рукою М. И. Муравьева-Апостола: „Преферанс, который научил играть ялutorовских М. Л. Бибиков [племянник М. И.], И. Д. Свербеев [по правую руку Пущина] проездом из Иркутска в Москву, Евг. Петрович Оболенский [по левую руку Пущина], Н. В. Басаргин. Наша каминная комната [в доме М. И.] в Ялutorовске. 1855 года. Рисовал Мих. Степ. Знаменский“.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Александр I**—28, 32, 64, 82,
 145, 147, 151, 171-2, 175,
 179, 183, 192-3, 197.
Алексей, слуга Пущина — 64,
 90, 93, 194-6, 200.
Анжелика — 185.
Анна Николаевна — 142.
Анна Павловна, вел. княгиня —
 146, 149, 152.
Анненков П. В.—149, 156-160,
 164, 167-8, 196, 203.
Антипьева — 165.
Арина Родионовна — 31, 195,
 200.
Аршиак-де — 213.
Багалей Д. И. — 216.
Байрон — 17, 117.
Бакунин А. П. — 139.
Бакунина Е. П. — 20, 169.
Балашкин Н. В. или **Н. Я.**—
 112.
Бартенев П. П.— 160.
Басаргин Н. В.— 84, 95, 133,
 216.
Белюсович — 59.
Беляев, офицер — 73-4, 80.
Бенкендорф А. Х.— 25, 213.
Бестужев А. А.— 29, 68
Бестужев М. А. — 24, 133.
Бестужев Н. А. — 63, 70, 84.
Вибиков М. Л.—216.
Влагод Д. Д.—202.
Вобрищев-Пушкин Н. С.—101,
 122.
Вобрищев-Пушкин П. С. — 100,
 101, 122, 126.
Бошняк А. К.— 25.
Броглио А. М.—172.
Броглио С.—171.
Бронников — 137.
Брюсов В. Я.—38.
Булгаков А. Я.—81.
Булгарин Ф. В.—55.
Бурцов И. Г.—23, 54, 72, 80,
 181.
Бутковский Н.— 101.
Вах — 20, 163.
Валуева — 170.
Ванюша — 165.
Вельо — 175.
Венера — 16.
Вересаев В. В.—200.
Воинов А. Л.— 68.
Волконская В. М.— 170-3.
Волконская Е. С.— 110-111.
Волконская М. Н. (Раевская) —
 109-11.
Волконский С. Г.— 8, 33, 109,
 110.
Волконский М. С.— 110.
Волконский П. М.— 171-2, 179.
Вольф Ф. Б.—104.
Вольховский В. Д.—60, 88, 139,
 181.
Воронцов М. С.— 190, 194, 196,
 211.
Воронцова Е. К.—200.
Вранкен — 45.

Вяземская В. Ф.—30, 32.
Вяземский П. А.—31, 33-36,
131, 178, 202, 213.
Гаевский — 91.
Галахов С. П.—133.
Галич А. И.—101.
Галль—155.
Гауэншильд Ф. Л.—162, 165.
Геккерн Э. Ф.—213.
Герцен А. И.—6, 215.
Гершензон М. О.—9.
Гете — 17, 117, 212.
Гаянка В.—114.
Гаянка И. К.—211.
Голицын А. П.—179-80.
Голицын Д. В.—27, 61, 75, 189.
Горацкий — 21.
Го, бачевский И. И.—24, 131.
Гореткин И. Н.—89.
Горчаков А. М.—43, 71, 140.
Гофман М. Л.—9.
Грabbе-Горский И. В.—78.
Греч П. И.—56, 60.
Грибоелов А. С.—189.
Григорович Д. В.—17, 100.
Грот К. Я.—15, 161, 215.
Губастов К. А.—110.
Гурьев К.—141-2, 149.
Гурьева — 142.
Давыдов В. Л.—200.
Давыдов Д. В.—164.
Даль В. И.—41, 210.
Данзас К. К.—35, 75, 81, 210,
213.
Дантес-Геккерн Ж.—207, 213.
Дельвиг А. А.—26, 36, 150,
164, 178-9, 189.
Дельвиг М. А.—168.
Демьян Бедный—16.
Державин Г. Г.—167.

Дмитриев И. П.—31, 164.
Долгорукая Н. Г.—36.
Дорохова М. А.—104.
Дружнин Н. М.—63.
Еваторина П.—152.
Елизавета Алексеевна—149, 170,
173, 176.
Есаков С. С.—139, 175.
Желдыбин — 84.
Жуковский В. А.—41.
Завалишин Д. П.—70, 99.
Закревский А. А.—129.
Захаржевский — 182.
Знаменский М. С.—216.
Золотарев—154.
Зубков В. П.—133, 189.
Ивашев В. П.—100.
Измайлов В. В.—160.
Илличевский А. Д.—41, 46, 178.
Инзов И. И.—193.
Ипшопрат — 21.
Казимирский Я. Д.—108, 128.
Кайданов И. К.—49, 166.
Калашникова О. М.—200.
Калошин П. И.—54, 60, 77,
181.
Кантакузина Е. М. (Горчакова)—
168.
Карцов — 166-7.
Каховский П. Г.—68, 82, 131.
Кашкин С. П.—60-1, 81.
Кемерский Л.—154.
Киприда — 16.
Киселев П. Д.—183.
Клейнмихель П. А.—180.
Клабенау — 176.
Кобеко Д. Ф.—172.

- Константин Павлович — 76 - 9,
 146-9.
 Корнилов А. А.— 139, 148.
 Корсаков М. С.— 121.
 Корсаков С. С.— 168.
 Корф М. А.— 35, 46-7, 155,
 161.
 Костюшко Т.—176.
 Котляревский Н. А.— 65.
 Коцебу — 105.
 Кожанский Н. Ф.— 49, 159,
 160.
 Кунцын А. П.— 14, 34, 50-2,
 147, 150, 167, 189, 185.
 Купидон — 164.
 Кюхельбекер В. К.— 16-18, 30,
 39-40, 68, 107, 113-14, 117,
 169-70, 206, 211.
 Кюхельбекер Д. Н.— 113.
 Кюхельбекер М. В.— 114.

 Лавинский А. С.— 91.
 Лагарп Ж. Ф.— 160.
 Лаиса — 16.
 Лафатер И. Г.— 160.
 Левашев В. В.— 177.
 Ледантю Б. П.— 100.
 Лепарский С. Р.— 90, 92, 96.
 Лернер Н. О.— 7.
 Лиза — 164.
 Лоди — 142.
 Ломоносов С. Г.— 32, 141-2.
 Луначарский А. В.— 16.
 Луни М. С.— 88, 125.
 Ламин — 171.

 Майков Л. Н.— 138, 215.
 Малиновский В. Ф.— 141, 143,
 146, 159.
 Малиновский П. В.— 35, 41, 96,
 139, 141, 161, 164, 211.

 Мария Фелоровна — 148, 151.
 Мартынов И. И.— 146.
 Мирфугла — 165.
 Маслов Д. Н.— 185-6.
 Матрена — 104.
 Матюшкин Ф. Ф.— 17, 36, 47,
 61, 85, 105, 110, 120, 216.
 Меловс Р. М.— 89.
 Милорадович М. А.— 139, 192-3.
 Михаил Павлович — 57, 145, 151.
 Михеевна — 104.
 Модзалевский Б. Л.— 10, 212, 216.
 Молчанов Д. В.— 110-11.
 Мордвинов Н. С.— 69.
 Муравьев А. И.— 54, 181.
 Муравьев М. И.— 54, 181.
 Муравьев Н. М.— 62-4.
 Муравьева А. Г. (Чернышева) —
 36-7, 90, 204-5.
 Муравьева П. М. (Шаховская) —
 87.
 Муравьев-Апостол И. М.— 69.
 Муравьев-Апостол М. И.— 107,
 111, 216.
 Муравьев-Апостол С. И.— 71.
 Муханов П. А.— 86-8, 92, 115.
 Мысловский П.— 92.

 Набоков И. А.— 91, 190.
 Набокова Е. П. (Пущана) — 91,
 123, 189, 190.
 Назарий — 127.
 Наполеон III — 171.
 Нарышкин М. М.— 59, 129.
 Наташа — 171.
 Некрасов Н. А.— 109, 124.
 Нессельроде В. К.— 211.
 Нечкина М. В.— 39, 69.
 Николай I — 6, 55, 68, 71, 96,
 18, 145, 146, 151, 208-9.

 Оболенская В. С. (Варанова) — 106.

Оболенский Е. П.— 72, 91, 100,
106, 108, 111, 122, 129,
215-16.

Орлов А. Ф.— 183.

Орлов М. Ф.— 65, 78-9, 199.

Осипова П. А.— 32.

Павел I — 28, 32.

Палбин А. А.— 106.

Пальчигова О. П.— 27.

Паскаль Б.— 100-1, 115.

Пешель — 155.

Пиксанов Н. К.— 10.

Пестель П. И.— 131.

Нещуров А. П.— 190.

Пирогов Н. И.— 121-2.

Плетнев П. А.— 33, 206.

Плуталов — 87.

Плюскова — 170.

Поджио А. В.— 86, 110.

Покровский М. Н.— 9.

Прокофьев — 154.

Пушкин В. Л.— 14, 27, 140-3,
191.

Пушкин Л. С.— 29, 197.

Пушкин С. Л.— 187-8, 213.

Пушкина Н. Н. (Гончарова)— 206.

Пушкин И. И. (сын)— 106, 129.

Пушкин И. П.— 44, 58, 100.

Пушкин Л. И.— 81.

Пушкин М. И.— 44-5, 58-9, 61,
64-5, 73, 86, 88, 90, 130, 205.

Пушкин Н. И. 88, 90, 100, 121.

Пушкин П. И.— 44, 139-41.

Пушкин П. И.— 117.

Пушкин П. П.— 139.

Пушкин П. С.— 25, 201.

Пушкина А.— 104.

Пушкина А. И. (дочь)— 104-6,
115, 129.

Пушкина А. И. (сестра)— 87.

Пушкина А. К. (Рыльева)— 42.

Пушкина А. М. (Рябинина)— 44.

Пушкина Н. Д. (Фонвизина)— 44,
105, 124-8.

Раевский В. Ф.— 199.

Разумовский А. К.— 14, 139-
143, 149, 162.

Рачинский К. К.— 91.

Розен А. Е.— 132.

Розенберг — 207.

Рылов К. Ф.— 7, 29, 31, 42,
45, 63, 66-9, 73, 75, 79-80,
82, 114, 131, 134, 179, 182,
202.

Рыльева Н. М. (Тевяшева)— 93.

Рябинин А. М.— 140, 143.

Саврасов П. Ф.— 139.

Сазонов — 155.

Сазонович А. П.— 107-8.

Сайтов В. И.— 213.

Сякулин П. Н.— 16.

Свербеев Н. Д.— 216.

Свиштунов П. Н.— 129.

Селивановский С. И.— 31.

Семевский В. И.— 62, 64, 81.

Семенов С. М.— 54, 65-6, 78-9,
181.

Сердечкин — 174.

Скалон — 154.

Словцов П. А.— 18.

Смирнова А. О.— 123.

Соболевский Л. М.— 216.

Соловьев В. И.— 16.

Сологуб В. А.— 18.

Спаский И. Т.— 41.

Сперанский М. М.— 69.

Сталь А.— 186.

Сухованет И. О.— 67.

Татьяна (Ларина)— 127.

Тейпер — 179.

Тиненгаузен В. К.— 111.
Токарев — 74.
Толстая — 31.
Тришита — 45.
Троппе — 45.
Трофим — 165.
Трубецкой С. П. — 66, 78, 80,
108, 132.
Тургенев А. И.— 27, 191.
Тургенев Н. И.— 18, 56, 185-7.
Тыршов А. Д.— 161.

Уварова Е. С. (Лунина) — 88.

Фома — 164.
Фонвизин М. А.— 65, 70, 105,
124-3, 130.
Фонвизина Е. Ф.— 121.
Францлин В.— 115.
Фролов И. И.— 165.
Фусс П. Н.— 46.

Хомяков Ф. С.— 60.

Щебриков Н. Р.— 123.
Цявловский М. А.— 9, 16, 28,
149, 172, 205.

Чаадаев П. Я.— 35.
Черевин — 74, 80.
Чернышев А. И.— 183.
Чернышев З. Г.— 90.
Чириков С. Г.— 152, 169.

Шаховская Е. А. (Муханова) — 87.
Шаховской В. М.— 87.
Шевченко Т. Г.— 104-5.

Шекспир — 117, 213
Шенрок Б. И.— 125-6.
Шенье А.— 33-4.
Шереметев П. С.— 43.
Шереметева П. П. (Тютчева) —
88-9.
Шехерезада — 85.
Шильдер Н. К.— 110.
Шредер — 175.
Штейнгель В. И.— 63, 115.
Штрайх П. В.— 10.
Штрайх С. Я.— 10, 89, 215.

Щеголев П. Е.— 16, 110, 199,
200, 208, 213.

Зельнер — 176.
Энгельгардт Е. А.— 16, 39, 41,
46, 50, 52, 54, 57, 61, 92,
96, 100-4, 107, 111, 119,
127, 131, 150, 159, 162,
171-6, 179-80, 192-3, 206.
Эристов Д. А.— 124.
Эрот — 21.

Юсупов Н. В.— 189-90.

Якубович А. И.— 59, 67, 82.
Якушкин Е. Е.— 109, 209.
Якушкин Е. И.— 43, 58, 84,
109-10, 134, 137.
Якушкин И. Д.— 54, 70, 88-9
94, 99, 111, 118, 215.
Якушина А. В. (Шереметева) —
88-9.
Якушкины — 179, 216.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Вместо предисловия	5—10
С. Я. Штрайх: Первый друг Пушкина (историко-литературный очерк)	11—134
Глава первая— Пущин и Пушкин.	13
„ вторая — Юношеские годы Пущина	44
„ третья — Общественная и политическая деятельность Пущина.	56
„ четвертая—Пущин в процессе декабристов	70
„ пятая — Пущин в Сибирь	84
„ шестая— Возвращение в Россию	123
И. И. Пущин: Записки о Пушкине	135—213
Примечания	215
Указатель имен	217
Приложения:	
Портрет И. И. Пущина в 1825 г. к стр.	17
И. И. Пущин среди декабристов в Ялуторовске в 1855 году к стр.	137

Библиотека ЦСР КСМ

проект 1938

174



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, Центр пл. Свердлова, Копьевский пер., 3. Телефон 4-46-74

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

Грибоедов А. С. в воспоминаниях современников. Ред. и предисл. Н. Пиксанова. Примеч. И. Зильберштейна. С портретом А. С. Грибоедова. 344 стр. Цена 3 р., в пер. 3 р. 25 к.

Иванов-Разумник, Р. — Салтыков-Щедрин. Предисловие В. А. Строева-Десницкого. 386 страниц. Цена 3 р. 80 к., перепл. 20 к.

Ашукин. Н. — Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. С портр. Вал. Брюсова. 400 стр. Цена 2 р. 50 к.

Блэгой Д. — Социология творчества Пушкина. 364 стр. Цена 3 р. 50 к., перепл. 20 к.

Литературные манифесты. От символизма к Октябрю. Сборник материалов, подготов. к печати Н. Бродским, В. Львов-Рогачевским и Н. Сидоровым. 302 стр. Цена в пер. 1 р. 75 к.

Львов-Рогачевский, В. — От усадьбы к избу. Л. Н. Толстой. 1828—1928, 218 стр. Цена в пер. 3 р.

Подонский, Вячеслав — Литература и общество. Сборник статей. 402 страницы. Цена в переплете 3 р. 25 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА Москва, Центр, Бояленский пер., 4 и во все магазины, отделения Госиздата.



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ФЕДЕРАЦИЯ“

Москва, Центр, пл. Свердлова, Кольевский пер., 2. Телефон 4-46-74

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

Разговоры Пушкина. Собрала С. Я. Гессен и Л. Б. Модзалевский. С портр. и автопорт. Пушкина 312 стр. Ц. 2 р. 50 к.

Чешихин, В. — (Ветринский) — Г. И. Успенский. Биографический очерк. Ред. и вводная статья П. Сакулина с 4 портретами Г. Успенского, 382 стр. Ц. 3 р. 75 к., в перепл. 4 р.

Чуковский, К. — Рассказы о Некрасове. 314 стр. Цена 3 р., перепл. 20 к.

Шкловский, В. — Материал и стиль в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». С 12 рис. 256 стр. Цена в перепл. 3 р. 50 к.

Шкловский, В. — Теория прозы. 266 стр. Ц. 2 р. 70 к. перепл. 30 к.

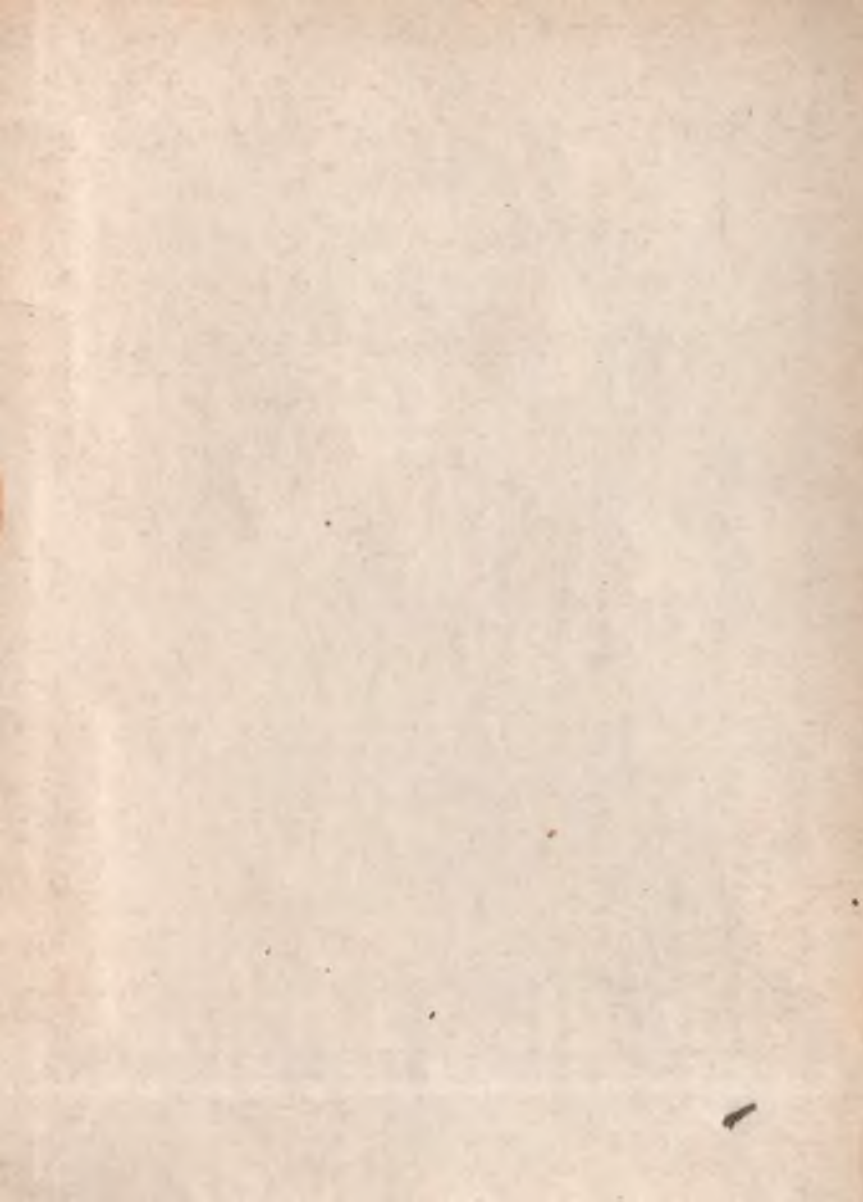
Штрайх, С. — Повесть о жизни и любви чудесного доктора. 343 стр. Цена 3 р. 10 к.

Штрайх, С. — Романы Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. Изд. 2-е переработанное. 222 стр. Цена 2 р., перепл. 20 к.

Щеголов, П. — Пушкин и мужики. По неизданным материалам. С портр. и автографом Пушкина с иллюстрациями. 288 стр. + 7 вкл. Ц. в пер. 3 р. 35 к.

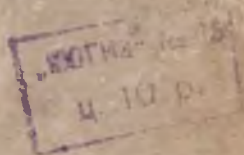
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА, Москва, Центр, Богоявленский пер., 4 и во все магазины, отделения Госиздата.



Цена 1 р. 25 к.
Переплет 20 к.

Тир



СКЛАД ИЗДАНИЯ
СЕКТОР КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР

Москва, Центр, Богоявленский переулок, 4,
Тел. 2-67-81 и 5-50-80. Ленинград. Лениотгиз.
Проспект 25 Октября, 28. Телефон 5-34-18.